фигнер
После
Шлиссельбурга
Л., 1925
3экз

ИМЛ — Библиотека
ГЕ 160
Ф 526

В. Н. ФИГНЕР

ГЕ160
90576

ПОСЛЕ ШЛИССЕЛЬБУРГА

ЛЕНИНГРАД
«КОЛОС»
1925

В. Н. ФИГНЕР

ПОСЛЕ ШЛИССЕЛЬБУРГА

5312

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„К О Л О С“
Л Е Н И Н Г Р А Д
1925

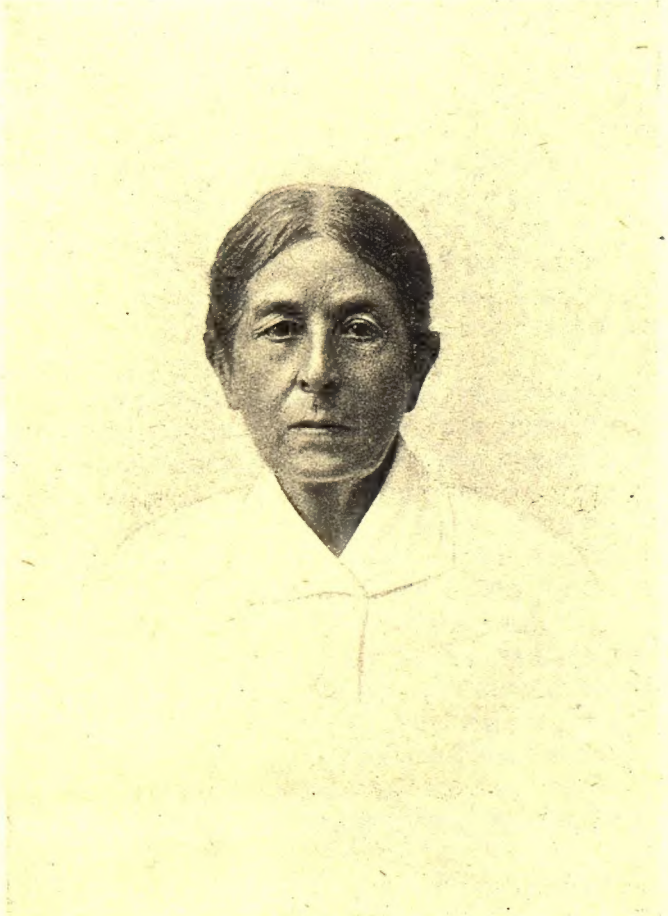
3 экз.

★

ВОЕННАЯ
ТИПОГРАФИЯ
Управ. Р.-К. К. А.
Пл. Урицкого, 10.
Ленинградский
Гублит. № 19.585.
Тираж 4.060—9.
Заказ № 16.

ГЕ160
ф576

ф3 66614
34



Вера Николаевна Фигнер.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

29 сентября ст. с. 1924 года исполнилось 20 лет, как я вышла из заточения в Шлиссельбургской крепости, но предлагаемые главы охватывают лишь два первые года моей новой, второй жизни. Как хронологически, так и по единству настроения они составляют продолжение моего „Запечатленного Труда“ и тесно связаны с содержанием его.

Эти первые годы были полны интенсивной внутренней работы мысли и чувства и с психологической точки зрения являются, по моему мнению, самыми значительными за все двадцатилетие.

Почти четверть столетия я была оторвана от людей и нормального хода жизни, чтоб в 1904-м году вновь попасть в общий людской поток. Удивительно ли, что я испытала глубокое потрясение.

Вопросы: как жить, чем жить, зачем жить, так редко занимающие тех, кто живет на свободе, встали и не переставали стоять в эти первые годы предо мной во всей своей трагической обнаженности: их не затеняли радости и удовольствия, не заглушала шумиха обыденности, как это происходит в обыкновенных случаях.

Нервная система моя болезненно реагировала на все внешние впечатления; близкое общение с людьми тяготило почти до невыносимости. Но не это было самым главным.

Пока я находилась в тюрьме, я не постигала, у меня не было мерила для оценки всего зла, которое причинила мне кара, на много лет вырвавшая из общего русла.

Теперь несчастье обрушилось: я поняла всю глубину нанесенного мне вреда.

Когда для меня жизнь остановилась—вне тюрьмы она не стояла на одном месте: все двигалось, все изменялось. Несмотря на путы самодержавия, Россия шла вперед. Она развивалась в отношении экономическом, культурном и психологическом. Экономически она шла по пути капитализма; в культурном отношении—в городах—догоняла передовые страны, а в области психологической—громадный сдвиг произошел в настроениях: безмолвная, безропотная страна находилась в глухом брожении, готовом вырваться наружу.

В стране, раньше исключительно земледельческой, крестьянской, обрабатывающая промышленность заняла крупное место, и не замедлил явиться ее спутник и антагонист—пролетариат западно-европейского типа. К 1904—05 году он был уже настолько многочислен, об'единен и сознателен, что с успехом давал битвы капиталу и предъявлял политические требования правительству.

В эпоху, когда революционная партия Народной Воли (к которой принадлежала я) боролась с самодержавием, мы, по условиям времени, не могли найти опоры в массах. Теперь революционные партии имели за собой армию промышленных рабочих, втянутых в политический круговорот. Просыпалось и крестьянство.

И в то время, как, при сохранившемся старом государственном строе, весь лик России, вся внутренняя жизнь ее преобразилась, изменились нравы, потребности и масштаб общественной деятельности, возникли новые партии и группировки, и новые программы завоевывали умы,—я, в одинокой камере крепости, оставалась в неподвижности, как лежит мертвый камень вдали от берегов многоводной реки, передвинувшей свое русло.

Разве не понятно, что, после 22-летнего отрыва, брошенная в общий поток—*я не смогла слиться с ним, не могла найти свое место в жизни?*

У Леонида Андреева есть рассказ: „Элеазар". Это воскресший Лазарь—„человек, заглянувший в вечность", говорит Андреев. Читая рассказ,—„не похожа ли я не Элеазара?"—думалось мне. Как Элеазар Андреева, я смотрела поверх жизни, поверх предметов.

Он смотрел в неопределенную даль. Я смотрела внутрь себя.

Не каждый день люди выходят из политических Бастилий, и не каждый выходящий делится своими переживаниями.

„Теперь я понял, как должен себя чувствовать человек после стольких лет заточения", сказал один знакомый, прочитав написанное мной в главе „С горстью золота".

Если поймут другие—я найду в этом удовлетворение.

Вера Фигнер.

P. S. В этой книге собраны статьи, которые печатались в разное время в различных изданиях: в „Русском Богатстве", „Русских Записках", в сборнике „Слово" № 7.

Две главы: „В Нижнем" и последняя—„Противоречия жизни", появляются впервые, а в конце, в качестве приложения, помещены письма к моему сопроцесснику—Спандони. В них сохранились черты жизни и моих настроений в ссылке, которые не были введены в текст книги.

ГЛАВА I.

В Архангельске.

Через две недели после выхода из Шлиссельбурга меня отправили в ссылку. По случаю войны с Японией местом назначения не была Сибирь. Моим родным предложили на выбор Ташкент или Архангельскую губернию. Они предпочли последнюю, считая, что после Шлиссельбурга жаркий климат Ташкента был бы губителен для моего здоровья. Мне дозволили ехать на свой счет, но я должна была взять на себя путевые издержки в Архангельск и обратно двух жандармов, сопровождавших меня, и полковника Дубровина, бывшего одно время смотрителем в Шлиссельбурге. Моя сестра Лидия Стахевич ехала со мной до Ярославля, где ее должна была сменить сестра Ольга Флоровская, жившая в то время в этом городе: они не хотели оставить меня одну на первых шагах моей новой жизни.

Когда из Петропавловской крепости меня везли на Николаевский вокзал, занавеска окна в карете была задернута не вполне, и я с любопытством смотрела на улицу. Все прохожие казались мне одетыми в серые арестантские халаты, которые я привыкла видеть во время заключения. В глазу я получала, конечно, оптическое изображение фигур в пальто и шляпах или фуражках, но привычка делала то, что я *видела* обычный костюм арестанта. Я не различала также черт лица прохожих: их лица были для моего глаза *сплошным* бледно-желтым пятном. Это особенно поразило меня, когда мы подъехали к вокзалу, и я вышла из кареты: у всех встречных вместо лиц были совершенно

одинаковые желтые овалы. Никогда с тех пор это не повторялось; только в Архангельской тюрьме было нечто похожее на эту аберрацию зрения: когда во время прогулки случайно мне навстречу шел кто-нибудь из уголовных, я в волнении бросалась вперед—я видела фигуру и лицо Фроленко, Антонова или другого товарища из оставшихся в Шлиссельбурге. Серый арестантский халат давал повод к тому, что я *видела* не то, что было в действительности.

Мы приехали в Архангельск 17 октября, и когда солнце всходило, и я вспомнила, что этот день—воскресенье, то невольно подумала: не счастливое ли это предзнаменование, и не начнется ли с этого дня мое воскресение?

С вокзала мы пересели на пароход „Москва" и переправились через Северную Двину, широкую и прекрасную. Недалеко от берега бросался в глаза собор с синими куполами, усеянными золотыми звездами, а город, в который мы въезжали, был украшен флагами по случаю спасения царской семьи при крушении в Борках 17 октября 1888 года; но при желании я могла вообразить, что население чествует мой приезд.

Когда мы подъехали к канцелярии губернатора, двери были еще заперты, и сторожа, протирая глаза, тащили флаги на площадь перед домом губернатора.

Губернатор, правитель канцелярии и их подчиненные еще не вставали, и мы вошли в пустынные покои, где было много чернил, бумаги и расстроенные хрипящие часы. После 11-ти явился правитель канцелярии, и стало выясняться положение дел. Полковник Дубровин, сопровождавший меня с двумя жандармами, подал ему запечатанный пакет, и по мере того, как чиновник читал бумагу департамента полиции, его лицо, прежде предупредительно-любезное, вытягивалось и становилось все серьезнее.

„Я должен тотчас же препроводить вас в тюремный замок", начал он, обращаясь ко мне. „Затем, согласно распоряжения департамента полиции, вы будете отправлены в *отдаленнейшие места* Архангельской губернии.

Там вы не должны иметь ни *одного товарища* из политических ссыльных. Два полицейских стражника будут сопровождать вас и останутся на месте назначения для постоянного наблюдения за вами". Я стояла ошеломленная. Я рассчитывала по приезде в Архангельск остаться на свободе с сестрой и быть отправленной в какой-нибудь уездный город или село по близости. Перед отъездом из Петербурга мой брат Петр был принят в департаменте полиции с большой любезностью. Кто-то из высших чинов, принимавших его, сказал: „Довольно она натерпелась: теперь все будет по другому. Будьте покойны: ей будет хорошо". Окрыленные надеждой, мы двинулись в путь. И вот каково оказалось это „другое"! Меня заключали в острог и разлучали с сестрой, которая сопровождала меня и надеялась поселиться со мной в гостинице, а теперь тщетно предлагала поставить стражу там, где мы остановимся, и взять на себя расходы по содержанию этой охраны. Вместо ближайшего места поселения предо мной вставала перспектива отправиться за 2.400 верст от губернского города и жить в безлюдном крае, без одного друга и без кого-либо из родных, потому что, имея собственные семьи, они не только не могли оставаться со мной, но даже и проводить в такую даль. Отдаленнейшие места губернии—это сплошные тундры, по которым проезд возможен только зимой, когда болота замерзают, и туда-то департамент полиции отправлял меня. Можно себе представить, что это была бы за жизнь в сообществе двух полицейских, как это было с Н. Г. Чернышевским и после него в первый раз применялось ко мне, только что вышедшей из Шлиссельбурга.

Моя сестра Ольга, живая и энергичная, защищала меня, как львица, оспаривая один за другим все пункты инструкции, данной относительно меня. Напрасно правитель канцелярий уверял ее, что не в его власти изменить что-либо в предписаниях из Петербурга. Я молчала, сдерживая волнение. Потеряв, наконец, терпение от этих споров с бессильным чиновником, я проговорила: „Бесполезно спорить; поедемте".

Я обняла сестру, любящее сердце которой было неустанно в заботе обо мне; явившийся полицеймейстер отвез меня на извозчике в тюрьму.

Опять тюрьма, опять стены, смотритель, надзирательница, обыск и камера, изолированная не только от политических, но и от уголовных. И тишина. Опять тишина!

Каждый день сестра, бросившая на неопределенное время мужа и сына в Ярославле, навещала меня по вечерам, и мы беседовали часа полтора-два, всегда в присутствии смотрителя. хотя губернатор Бюнтинг и обещал сестре свидания без посторонних ушей.

Уходя в Шлиссельбург, я оставляла сестру Ольгу девушкой, едва достигшей 21 года и только что кончившей Бестужевские курсы. В то время она смотрела на меня, как на свою учительницу, быть может даже, как на идеал. Моя участь только обострила ее чувство преданности мне: с годами эта преданность не ослабевала, и когда я была освобождена,—в ее душе было ликование, которого во мне самой не было и следа. Каждое утро, по ее словам, первой ее мыслью было: „*она* свободна! *она*—свободна!“ И это в то время, когда чувство свободы еще ни разу не пробежало в моей душе.

Теперь с чисто материнской нежностью она, как птичка, вилась около меня, окружая попечением и заботливостью. Я очень нуждалась в этом: оторванная от Шлиссельбургских товарищей, я теряла скрепу, которую дала тюрьма, и еще не приобрела новой—вне ее. Не говоря о посещениях ее, которые помогали мне сохранять бодрость духа и претерпеть внутренний ужас перед одиночеством, которым угрожал мне департамент полиции—одиночеством более страшным, чем был бы теперь для меня Шлиссельбург,—она со всем пылом горячей любви боролась за меня с губернатором, с департаментом и готова была бороться со всем светом, лишь бы добиться отмены свирепых распоряжений, обрушившихся на меня.

Своей настойчивостью она совершенно терроризировала Бюнтинга, который доброжелательно находил по-

лезным для меня остаться лишний месяц в тюремном заключении. Она довела его до того, что он стал скрываться от нее, и она уже не могла добиться приема у него.

В Петербург посыпались телеграммы от нее: к брату Петру, брату Николаю, в департамент полиции. Сестра указывала на слабость моего здоровья, расстроенные нервы, на невозможность после 22 лет заключения перенести суровость отдаленнейшей ссылки в северные тундры и настаивала на том, чтобы, хоть временно, я была поселена в более близкой местности. Внутренно она надеялась, что временное превратится в постоянное, и что во всяком случае первое, самое трудное, время я не останусь одинокой, и мою жизнь облегчит пребывание со мной кого-нибудь из родных.

Чутье любящего сердца подсказывало ей, какое смятение и горечь волновали меня. Первое свидание в Архангельской тюрьме не могло не показать ей, как я была поражена новым оборотом судьбы. Присутствие постороннего лица, смотрителя, не позволяло облегчить душу: „Язык прилипает к гортани“ —писала я об этом свидании брату Петру—„и я не нахожу, что говорить“. „И вообще (продолжала я в этом же письме от 18 октября) с момента вступления в эту тюрьму я почувствовала, что все вы, мои родные, которые так приветили и обласкали меня, отходите куда-то вдаль, словно отплываете на корабле, оставляя меня на берегу... На минуту наши пути скрестились и переплелись, а потом опять моя тропинка вышла из общего узла и убежала в сторону... И мне казалось, что, как прежде, между нами встает каменная холодная твердыня“.

В самом деле, я думала, что решение департамента полиции останется неизменным, и в таком случае я могла считать себя обреченной на гибель: я чувствовала, что физических сил моих не хватит, чтобы преодолеть условия предполагаемой ссылки. Мое освобождение из крепости казалось мне ложью, лицемерием, вероломным средством уничтожить меня, только иным способом. И вместе с тем надо было притворяться в

письмах к братьям, в разговорах с сестрой и уверять, что, подчиняясь неизбежному, я выдержу его и теперь, как выдержала в прошлом.

Я была в этом настроении, когда в один неприятный для меня день меня вызвали в канцелярию. Там я застала губернатора и еще трех мужчин. Общество незнакомых людей не только в первое время, но и во все первые годы, потрясало и выводило меня из равновесия, а тут я недоумевала, зачем привели меня: я не догадалась, что эта была врачебная комиссия для удостоверения состояния моего здоровья. Смущенная и волнующаяся, я села на стул, и когда один из врачей задал о моих нервах какие-то вопросы, я прерывающимся голосом дала неопределенный ответ. „Я сделаю опыт на рефлекс„—сказал он и, сложив ладонями свои руки, слегка стукнул ими по моему колену. Неподготовленная к этому приему, о котором я раньше никогда не слыхала, я громко вскрикнула, вскочила и расплакалась.

Итак, опыт дал наглядное доказательство, что нервы у меня расстроены, напряжены; но мне было очень стыдно и досадно, что, ради избавления от далекой ссылки, сестра привела ко мне этих врачей. Она и сама не ожидала такой сцены и сокрушалась, что экспертиза сильно расстроила меня.

В результате однако департамент прислал телеграмму, предоставившую губернатору право поселить меня впредь до поправления здоровья в каком-нибудь селении Архангельского уезда, но при прежнем условии изоляции от других ссыльных и нахождении при мне двух урядников.

Губернатор предоставил сестре самой выбрать мое местожительство, и по совету местных людей она указала большой посад в 70 верстах от Архангельска—Нёноксу, в которой можно было найти и квартиру, и предметы питания. На Нёноксе губернатор и остановился, но объявил, что до зимнего пути я все же останусь в тюрьме.

В исполнение приказания департамента, чтоб я не имела товарищей-политиков, акушерка, жившая в адми-

нистративной ссылке в Нёноксе, была переведена в Архангельск. Для нее это было улучшение, но, желая быть со мной, она отказалась выехать. Однако, когда полиция пригрозила употребить силу, ей пришлось подчиниться.

Любопытно, что департамент предписывал полную изоляцию, акушерку из Нёноксы выслали, но местные власти не вспомнили, что этот посад находится на этапном пути, и по нему еженедельно идут партии политиков (и уголовных), ссылаемых на север и возвращаемых оттуда. Это дало мне потом возможность познакомиться со множеством лиц, от которых меня хотели уединить.

Когда грозившая опасность была отклонена, и упорная энергия Ольги увенчалась успехом, я, хотя и с великим трудом, все же уговорила ее на время оставить меня в одиночестве и до зимнего пути съездить в Ярославль, повидаться с мужем и сыном. Горячо любя меня, она никак не соглашалась на это, но мысль о ее четырехлетнем мальчике не давала мне покоя, и я бессовестно лгала ей, уверяя, что легко перенесу двухнедельную разлуку. На деле же новое одиночество и нестерпимая тюремная тишина оставили большие следы на моих нервах.

Смотритель тюрьмы казался порядочным человеком; иногда он заходил ко мне побеседовать о тюрьме и ее обитателях. Он рассказывал о жалком положении уголовных, о своих заботах и добром отношении к ним, о стремлении развлечь и просветить их обучением грамоте, устройством чтений со световыми картинами и т. д. С сокрушением жаловался он на плохое состояние тюремной библиотеки, бедной книгами, и с горечью упрекал молодых интеллигентов, проходивших через тюрьму, в полном равнодушии к участи уголовных, для которых во все время они решительно ничего не сделали.

Я не имела причин не доверять искренности этого человека. К тому же в этот первый период моей новой, второй жизни душа моя была размягчена, и, кажется, *никогда* в жизни у меня не было более горя-

чего желания быть нужной и полезной для окружающих. Я с радостью ухватилась за мысль улучшить тюремную библиотеку и дать хорошее чтение для обездоленного населения тюрьмы. Тотчас принявшись за составление списка книг, подходящих к среднему уровню уголовной публики, я выписала из Петербурга целый ящик хорошей популярной литературы. К сожалению, я не уверена, попали ли все эти книги в тюремную библиотеку, потому что впоследствии я с огорчением узнала от одного уголовного, отбывшего свой срок и жившего в Нёноксе, что все речи смотрителя были притворством; мне характеризовали его, как человека жестокого, немилосердно притеснявшего обитателей тюрьмы, и говорил это крестьянин, в честности и правдивости которого я имела возможность убедиться. А предо мной смотритель, жестокий в обращении с уголовными, всячески рассыпался, с интересом и сочувствием расспрашивал о Шлиссельбурге и раз почти с негодованием воскликнул: „Да неужели же никто никогда не делал попытки освободить вас оттуда?!“ Он подразумевал, конечно, попытку революционную.

Иногда приходила ко мне и надзирательница. От нее я в первый раз услыхала термин: *„политики“*, который заменил название *„радикалы“*, каким в мое время обозначали *революционеров*. Разговаривая с ней о политических ссыльных, проходивших через Архангельскую тюрьму, которая могла вместить до 2-х тысяч человек, я измерила количественное различие между числом лиц, втянутых в революционное движение в теперешнее время и в прежний период. Так, однажды, после студенческих волнений в Петербурге, в Архангельскую тюрьму, по ее словам, было прислано одновременно тысяча студентов. Прежде в таких случаях высылались десятки.

Ежедневно надзирательница сопровождала меня на прогулку. Тюремный двор ради меня превращался на полчаса в безлюдный пустырь. Не говоря о политиках — даже уголовным было в это время запрещено проходить по двору. Однако, случалось изредка—одинокая фигура в сером халате появлялась откуда-нибудь из-за

угла, и каждый раз сердце у меня начинало биться сильнее, я ускоряла шаги и с разочарованием отвертывалась, убеждаясь, что это не Фроленко, не Новорусский или Антонов. Только раз административно-ссыльный дантист, бывший в аптеке, где он, быть может, дергал кому-нибудь зубы, внезапно вышел в сопровождении надзирателя и столкнулся со мной лицом к лицу. Вероятно, он знал, *кто*—единственная узница в тюрьме, потому что тотчас назвал меня по имени и стал спрашивать о Карповиче, которого где-то, по-видимому, встречал. Несмотря на сопротивление надзирателя с одной стороны, надзирательницы—с другой, нам удалось перекинуться несколькими фразами. Давая адрес в Мезень, куда его отправляли, он просил написать ему все, что я могу сообщить о Карповиче. При первой возможности я сделала это, а потом была очень удивлена, что мое письмо целиком помещено в „Искре" без спроса о том, желаю я этого или нет.

От того же дантиста при встрече я узнала, что в тюрьме находится сопроцессник Гершуни — Качура. В свое время он вместе с Гершуни, Мельниковым и Сикорским был отвезен в Шлиссельбург и содержался в старой исторической тюрьме вдали от нас, старых шлиссельбуржцев. На суде по отношению к Гершуни Качура вел себя довольно двусмысленно: в шлиссельбургской тюрьме, не в пример прочим, он пользовался некоторыми льготами, работая в мастерской, чего не дозволяли другим, и, наконец, до истечения срока был увезен из крепости для отсылки в Мезень. Быть может, это объясняется тем, что, по словам рассказчика и смотрителя, он был ненормален.

Ровно через месяц после моего выхода из Шлиссельбурга, 29 октября, после обычного обхода камер смотрителем, когда все затихло, и никто уже не мог нарушить моего покоя, я, сидя в своей одиночке, вынула принесенный и украдкой переданный мне сестрой № „Революционной России", которая издавалась за границей партией социалистов-революционеров.

Со смешанным чувством удивления и невольного удовлетворения я пробегала страницы этого подполь-

ного органа, чудом залетевшего в мою камеру и после 22 лет отлученности приобщавшего меня к идеям, за которые боролась и погибла „Народная Воля“. Я читала о Народовольцах; стояли имена Ашенбреннера, мое и других товарищей. Поминали казненных, поминали погибших в Алексеевском равелине и вспоминали нас, оставшихся в живых. Вспоминали горячим словом, с горячим чувством и громко признавали нас предтечами и своими родоначальниками.

Погребенные в Шлиссельбурге, мы в нашей живой могиле думали, что мы забыты и не оставили следа в последующем поколении. Никогда не помышляли мы ни об исторической роли, ни о памяти в потомстве.

Когда один из младших товарищей, Манучаров, желая воздать хвалу нам, говорил в одном стихотворении о славе, я в стихотворной форме остановила полет его мечтаний, указывая, что не мысль о славе должна поддерживать и одушевлять нас:

„В исполненном долге отраду искать.

„В своем заточеньи мы будем...“—говорила я. И вот, через четверть столетия, идея, которая не умирает, подняла новую, несравненно более высокую волну революционного движения, 25 лет тому назад не достигшего своих целей, и на вершину гребня вынесла имена прежних борцов за свободу.

Нас помнят, нас знают, нас признают. А мы, уходя с политической арены, со стесненным сердцем оглядывались назад и скорбели, что мы оставлены и одиноки, и нет тех, которые подхватили бы выпавшее из наших рук знамя.

ГЛАВА II.

Посад Нёнокса.

18-го ноября, через месяц по приезде в Архангельск, меня отвезли в посад Нёноксу. Это было обставлено большой помпой. Предварительно становой пристав проехал сам, „чтоб удостовериться, что путь вполне установился: Северная Двина—встала, и прибрежный лед Белого моря, по которому на несколько верст шел путь, достаточно крепок".

Утром, часов в 9, у ворот тюрьмы уже находились моя сестра Ольга и несколько ссыльных, непременно хотевших проводить меня. Пришли бы и все—их было более сотни в городе,—но демонстрацию, которой боялась полиция, мы отклонили, как раньше при моем приезде отклонили проект молодежи устроить манифестацию около тюрьмы. Я не могла допустить возможности избиения этой молодежи казаками, когда я оставалась бы в бездействии за решеткой тюрьмы. Три экипажа уже ждали меня: в одной из кибиток поместилась я с сестрой, в другой исправник с урядником, а в санях сидели два стражника—моя будущая охрана в Нёноксе. Кортеж вышел внушительный, и во всех селах по дороге, как и на станции, где меняли лошадей, производил сенсацию: жители думали, что едет начальник губернии или еще более высокая особа.

Из Архангельской тюрьмы я не раз писала княжне Марье Михайловне Дондуковой-Корсаковой, которая проникла в Шлиссельбург незадолго до моего выхода, а потом перед отъездом в Архангельск посетила меня в Петропавловской крепости. Адрес, на котором стояло:

„ее сиятельству", создавал мне особенный престиж, распространившийся далеко за пределы тюрьмы, и, наряду с торжественностью проезда, послужил поводом к смешным толкам и целым легендам о моей особе. По всей округе прошел слух, что в Нёноксу привезена придворная дама, попавшая временно в опалу: разрастаясь, легенда пошла дальше, и меня наделили титулом княгини. Женщины, приходившие продавать яйца и куропаток, таинственным шопотом просили сестру „показать им княгинюшку". Я стала, наконец, великой княгиней Елизаветой Федоровной, приехавшей из Москвы узнать о положении народа. Устно и письменно, именуя меня княгиней и сиятельством, ко мне обращались впоследствии с просьбами о помощи, ссылаясь на „холод и голод", и с разными ходатайствами об облегчении участи.

Отвыкшая от путешествия на лошадях, после 70-ти верст я чувствовала себя совершенно разбитой. Сестра поспешила уложить меня на диванчике почтовой станции, где мы нашли первый приют. Но едва мы стали устраиваться, вошел стражник и, заложив руки за спину, стал греться у печки. „Что вам тут надо?" спросила Ольга.—„Приказано быть при вас", отвечал стражник.

Сестра вскипела и тотчас отправилась на въезжую, где остановился исправник.

После споров и перекоров—стражник в исполнении своих обязанностей был введен в должные границы.

Надо сказать, что вопрос о стражниках поднимался еще в Архангельске: исправник объявил сестре, что в Нёноксе стражники будут по очереди дежурить *в моей квартире день и ночь*.

Этого сестра уж никак не могла допустить: пусть стражники днюют и ночуют у дверей дома, где я буду жить, но *в квартиру* к себе мы их не пустим.

Она таки отвоевала это, хотя исправник и взывал к нашему чувству гуманности, указывая на 35—40 градусные морозы Архангельской губернии, от которых при наружном наблюдении могли пострадать стражники.

На другой день, укутанные, как следует, мы отправились с сестрой искать квартиру, и было странно

в первый раз идти без жандарма впереди и сзади. Впрочем, в почтительном отдалении шел и теперь один из моих соглядатаев. Посад имел 2 тыс. жителей, и, когда накануне наша кибитка въехала в улицы, я с любопытством смотрела на дома, большие, двухэтажные, со множеством окон, что особенно обращало внимание в виду холодного климата губернии. „Да это лучше нашего уездного города—Тетюш, как я его помню тридцать лет назад", сказала я сестре, и мы надеялись без труда найти подходящее помещение для нас.

Увы! квартиру подыскать было не легко.

Казенного леса в Архангельском уезде много, и он отпускается крестьянам за самую незначительную плату. Благодаря этому, многие жители посада имеют не один, а два дома. Но, хорошие снаружи, они внутри находятся в разрушении; создается впечатление, что хозяева когда-то жили богаче, лучше, а теперь переживают кризис. Стены оклеены обоями, но они оборваны, висят клочьями и колышатся от ветра, залетающего в разбитые стекла рам; полы, некогда выкрашенные, облезли и загажены. Сами хозяева, оставив просторные хоромы, ютятся где-нибудь в пристройках и грязных избах.

Походив напрасно по улицам, мы набрели наконец на покосившийся двух-этажный домишко, в котором за 15 р. в месяц нам предлагали взять верхний этаж из 3-х комнат и кухни. Желая поскорей устроиться, мы сняли эту развалину, в которой потом ежедневно угорали и лежали недвижимы с головной болью с утра до вечера.

Вслед за нами в тот же день в этот дом переехали и стражники, занявшие нижний этаж его. Надзор за мной был таким образом вполне обеспечен, и, на зависть посадским мещанам, они зажили прекрасно. „И за что они 25 рублей в месяц жалованья получают?" удивлялись жители. „Живут, как коты: едят, пьют и на печи валяются".

Если квартира была отвратительна: холодная, угарная, с сильно покосившимися полами, то недостатка

в предметах питания мы не испытывали. Край богат птицей, рыбой, зверем. Два охотника из местных жителей в зиму убили 11 лосей, прекрасных животных, величиной с быка. Шкуры с большими развесистыми рогами они продавали в Архангельске по 5 рублей, а мясо по 3—5 коп. за фунт сбывали в самой Нёноксе. В изобилии были рябчики, куропатки, тетерки, которых ловят в силки, расставленные на большом пространстве. Рыба из ближайших озер и весной из моря продавалась задешево. Недоставало хорошего молока: за скудостью лугов в этой местности коров кормят „исландским мохом". Богатый слизистыми веществами, он придает молоку тягучесть и неприятный вкус. Так как молока мало, жители бьют телят уже двух-недельными, лишь бы не тратить на них дорогого продукта. Главной пищей населения служит рыба, в особенности любимая треска. Мало просоленная, она представляет полуразложившшуюся массу, издающую зловоние, но жители находят ее вкусной. В этих широтах рожь уже не сеют, и мука привозится из Архангельска. Обыкновенно ее смешивают с ячменем, который в полях заменяет здесь рожь; но и он часто не вызревает. Ни капусты, ни каких-либо других овощей, не говоря уже об огурцах, воспитать здесь нельзя. Но картофель сажают. Летом, говорят, редко бывает три ясных дня подряд. Кроме земледелия, жители, общий облик которых походит на мещан, занимаются охотой, рыболовством, извозом, лесным промыслом и солеварением. Последнее ведется чуть ли не с новгородских времен и организовано на артельный лад: соляными колодцами владеют на паях, которые передаются по наследству и могут продаваться. У одних посадских один пай, у других 2—3—5. Варка соли происходит в здании, принадлежащем всем пайщикам. Сообща они нанимают и солевара, который, кроме жалованья, получает пищу от того лица, соль которого в данный момент варится. В среднем, одна варка дает 100 — 110 пудов соли, которая поступает в общий склад в Архангельске, куда сплавляется сначала по реке Нёноксе, а потом морем. В Архангельске общий приказчик, получающий

300 р. в год, продает всю поступившую к нему соль, а выручка распределяется потом между отдельными пайщиками, сообразно количеству пудов, приходящихся на каждый пай. Меня интересовало как артельное начало, положенное в основу промысла, так и самый процесс солеварения. Я осмотрела все производство. Оказалось, оно ведется самым примитивным образом: топлива истребляется множество. Благодаря казенным лесам, оно дешево, и его тратят, не жалеючи, причем, чья соль варится, тот должен доставить и необходимые для этого дрова. Горькие соли рассола, как менее растворимые, осаждаются при процессе первыми; но они вовсе не утилизируются, а попросту выбрасываются вон; поваренная соль из чрена бросается прямо на землю и потому не отличается чистотой, что уменьшает ее ценность. На лошадях ее перевозят к речной пристани и там корзинами перегружают на баржи.

Мне, так долго остававшейся вне общения с людьми, естественно хотелось поскорее войти в окружающую жизнь, как ни бедна была она содержанием; хотелось как-нибудь прицепиться к ней и с своей стороны внести в нее какое-нибудь улучшение. Узнав, что корзинки для погрузки соли не делаются на месте, а привозятся из Архангельска, стоят довольно дорого и быстро изнашиваются, я подумала, что здесь может привиться корзиночный промысел, если завести мастерскую, в которой желающие могли бы учиться плести нужные корзины.

От И. И. Горбунова-Посадова я выписала из Москвы литературу по кустарным промыслам и приступила к собиранию сведений, где можно взять необходимый материал и нанять мастера. Посадские указывали мне на лесничего Пруденского, жившего в Нёноксе, как на человека, который может оказать мне услуги в этом деле. Действительно, когда я обратилась к нему, он сделал все, зависевшее от него. Я находила, что мне, как ссыльной, лучше не брать официально на себя инициативу в устройстве мастерской, и предложила лесничему открыть ее, как бы по его собственному почину. Деньги же для найма помещения, мастера и

на покупку необходимого материала должна доставить я. Лесничий охотно пошел на это и в самое короткое время нанял избу, отыскал и пригласил корзинщика и приобрел материал—сухую сосну для дранок, из которых должны были делаться корзины Все устроилось легко и скоро—мастерская в Нёноксе была открыта. Оставалось привлечь учеников из местного населения, и я занялась агитацией и пропагандой. Я ходила по улицам с моим старым другом Александрой Ивановной Мороз, жившей со мной с января и вместе со мной финансировавшей корзиночную мастерскую, и не пропускала ни одной девушки, ни одного подростка без того, чтобы не изложить красноречиво необходимость и выгодность для данной местности корзиночного промысла. Я убеждала всячески итти в мастерскую и учиться плести корзины, как для таскания соли на баржи, так и для домашнего обихода вообще. Но трудно преодолеть деревенскую инертность: мои усилия пропадали даром. Четыре или пять мальчиков, действительно, стали посещать мастерскую и сделали по две-три небольших корзиночки, и я сама сплела, под руководством мастера, одну. Что касается взрослых, никто не заинтересовался этим производством, и так как охотников учиться не находилось, то месяца через два я сочла за лучшее закрыть мастерскую, остававшуюся без учеников.

С тем же лесничим я обсуждала вопрос о другом промысле, который мог пойти в этой местности. Как он, так и местный священник говорили, что в Нёноксе есть месторождение глины, годной для гончарного дела. Все поморье приобретало глиняную посуду у крестьян, которые закупали ее за 70 верст, в Архангельске, и потом объезжали с ней села. Священник говорил, что вопрос о гончарном производстве уже не раз поднимался в Нёноксе и образцы глины возились в Архангельск, где были признаны годными к делу. Я предполагала устроить завод на артельных началах, силами самих жителей. Но единственным человеком, который сильно заинтересовался моим проектом, был священник, обремененный 9 или 10 детьми, которых надо

было кормить и воспитывать. Падкий на деньгу, чадолюбивый отец—будь он допущен в руководители—без сомнения забрал бы все дело в свои руки, а подыскать подходящих людей в артель я не могла. Мое знакомство с посадскими не могло быть широким. Урядники усердно позаботились об этом. Распространяя обо мне всевозможные небылицы, они запугивали население тюрьмой и даже расстрелом тех, кто вздумал бы посещать меня. Никто из жителей, кроме поставщиков продуктов, не заходил ко мне, и при этим условиях мне неловко было часто ходить к кому-либо.

Народ в Нёноксе был довольно развитой, бывалый. Школа существовала уже более 70 лет и была выстроена „гражданином" Нёноксы, как об этом говорила надгробная плита, положенная благодарными односельчанами на могиле жертвователя. Грамотных было много; заходя в избы, я находила у отдельных лиц-мещан небольшие библиотечки из русских классиков и толстых томов переплетенной „Нивы". „Иной раз до 2-х часов сидишь ночью, читаешь", говорил мне один хозяин. В посаде была чайная и при ней библиотека-читальня Общества трезвости. Но книг было мало, и подбор их очень плох. Я очень хотела помочь делу, да не знала, под каким или под чьим флагом притти этому на помощь. Дело в том, что, в противоположность другим местностям Архангельской губернии, здесь к ссыльным не привыкли: по счету я была второй ссыльной в этом посаде, а акушерка, жившая до меня, пробыла здесь лишь несколько месяцев. Меня и моих услуг боялись. Учитель школы, заведывавший и библиотекой, конечно мог бы помочь, но о нем шла такая молва, что я не сочла возможным знакомиться с ним.

Между тем из немногих встреч можно было убедиться, что при ближайшем знакомстве нашлись бы здесь и симпатичные, и способные люди. Так, один посадский, на лето уходивший обыкновенно на Мурман, на рыбный промысел, просил у меня книг, которые хотел взять с собой с тем, чтобы давать их и другим; другой — самостоятельно додумался и составил

проект использования теплых паров, которые улетучивались при солеварении без всякой пользы. По этому проекту система трубок должна была собирать эти пары и проводить их к месту нагрева того же рассола, из которого пары поднялись. А это значительно сокращало бы расходование топлива. Свой проект с рисунками он показывал мне и хотел представить его в министерство государственных имуществ. Но мне, благодаря урядникам, близко сойтись ни с кем не удалось, как не удавалось и проследить, какое впечатление производили на жителей события многознаменательного времени, — зимы 1904 и весны 1905 года — которое я провела в Нёноксе.

Если урядники зорко следили за местными жителями и всячески отпугивали их от меня, то тем бдительнее они были по отношению к людям приезжим. Из Архангельска нет-нет да кто-нибудь наведывался ко мне. Это были находившиеся в административной ссылке: присяжные поверенные Балавенский и Переверзев; приват-доцент Петербургского университета, химик Гольдштейн; ярославский помещик Кладищев и некоторые другие. После каждого приезда ко мне являлся урядник и спрашивал, кто был у меня. Мы не находили нужным скрывать, и я называла своих гостей. Однажды, наскучив этими приставаньями, я ответила: был правитель канцелярии губернатора (Макринов) и его знакомые. Это произвело ошеломляющее впечатление, но на другой день полиция раскрыла мистификацию и была в большой претензии за эту проделку. Эти посещения из Архангельска вызывали со стороны губернатора постоянные угрозы выслать меня из Нёноксы в места более отдаленные, *„если я не перестану принимать посетителей из Архангельска“*. Я отписывалась, что не могу запретить людям приезжать ко мне.

В самом деле, как могла я не принимать людей, которые первые приветствовали мое освобождение из Шлиссельбурга? Не говоря о том, что они хотели устроить в честь меня манифестацию перед Архангельской тюрьмой, они прислали мне в Нёноксу два адреса с сотней подписей. Как тот, так и другой,

почти в одних и тех же выражениях, приветствовали меня, как члена „Народной Воли“, и в горячих выражениях высказывали пожелания и надежды на близость водворения в России свободы. Трогательно было то обстоятельство, что первою подписью под одним из этих адресов была подпись крестьянина села Вязьмина Петровского уезда, Саратовской губернии, где в 78-79 г. я служила в земстве. Я лечила отца этого крестьянина, а он был еще мальчиком; быть может, ходил в ту неоффициальную, закрытую полицией школу, в которой жившая со мной сестра моя, Евгения, обучала вязьминских ребят грамоте. В то далекое время это село жило исключительно земледелием, не зная никаких отхожих промыслов. Но крестьяне сидели на даровом наделе, были бедны, и с тех пор нужда потянула молодежь в города, на фабрики и заводы. Молодой парень, подписавший адрес, работая в городе, примкнул к революционному движению, участвовал в стачке, был выслан в административном порядке, и теперь обращался ко мне, как революционер к революционеру — старшему товарищу своему.

В ответ на приветствие ссыльных я написала то письмо, которое Якубович назвал стихотворением в прозе и поместил в сборнике моих стихотворений, напечатанном в 1906 году.

Вот его текст:

„Дорогие товарищи! Я получила ваши приветствия и сердечно благодарю за них. Сказать вам, что я тронута ими — было бы сказать слишком мало: они пробуждают целую волну смешанных чувств, в которой звучит и радость, и печаль. Радостно видеть вашу бодрость и смелость, видеть ваше одушевление и многочисленность... Радостно слиться с вашими надеждами на лучшее будущее... Но грустно оглянуться на пережитое и на оставленных друзей. Если бы хоть маленькая струйка вашего сочувствия, хоть маленький приток вольного воздуха и свежих людей проникал к нам,— нам жилось бы легче. Но мы были оторваны всецело и безнадежно от всего дорогого и милого, и это было, пожалуй, тяжелей всего“...

„Часто воображенье рисовало мне картину Верещагина, в натуре никогда, впрочем, не виденную мною: на вершине утесов Шипки, в снеговую бурю, стоит недвижно солдат на карауле, забытый своим отрядом... Он сторожит покинутую позицию и ждет прихода смены... Но смена медлит... Смена не приходит... и не придет никогда. А снежный буран крутится, вьется и понемногу засыпает забытого... по колена... по грудь... и с головой... И только штык виднеется из-под сугроба, свидетельствуя, что долг исполнен до конца".

„Так жили мы, год за годом, и тюремная жизнь, как снегом, покрывала наши надежды, ожидания и даже воспоминания, которые тускнели и стирались... Мы ждали смены, ждали новых товарищей, новых молодых сил... Но все было тщетно: мы старились, изживали свою жизнь,—а смены все не было и не было".

„И мнилось, что все затихло, все замерло... и на свободе та же пустыня, что и в тюрьме".

„Но — нет! Мы были отторгнуты от жизни, но жизнь не прекратилась и шла другими многочисленными руслами... И то, что некогда было сравнительно небольшим течением, превращается ныне в бурный и неудержимый поток. Только стены были слишком непроницаемы и глухи, и мы лежали, как мертвый камень лежит на русле, временно покинутом или обойденном большой рекой"...

ГЛАВА III.

Настроение.

Каково было мое настроение в Нёноксе? С внешней стороны все было благополучно, После того, как первый приют, хоть и плохой, был найден, и мое несложное хозяйство наладилось, благодаря девушке, Груше Рыбиной, которая раньше служила у Балавенских и оказалась очень преданной мне, — сестра Ольга уехала, и ее заменила сначала сестра Лидия, приехавшая из Петербурга, а потом Евгения. Лидинька писала брату, что я бодра и весела. Иногда мы много говорили — так много надо было рассказать друг другу. По временам не мало было и смеху по поводу разных хозяйственных и житейских мелочей и неудач. Но внутренно я чувствовала себя нехорошо. Я потеряла равновесие, в котором находилась в крепости „Я живу теперь не только на физическом, но и на моральном косогоре", — писала я племяннице, намекая на совершенно косой пол моей первой квартиры. „*Это* пройдет", — отвечала она. Но *это* не проходило. Еще в Петропавловской крепости я со страхом заметила, что память у меня совершенно исчезла. Еще там, сколько ни старалась, я не могла вспомнить, как называется столица Швеции, и в какой стране находится Копенгаген. Все знания, приобретенные и годами накопленные в Шлиссельбурге, вылетели из моей головы. Мне было стыдно, больно, я хотела бы скрыться, спрятаться ото всех. Как! Двадцать лет провести в крепости и не обогатить ума?.. Даже забыть то, что знала прежде, в то время, как на свободе люди продолжали идти вперед! Неужели же

я даром занималась всем, чем только возможно было в наших условиях: химией, физикой, астрономией, геологией, ботаникой и зоологией, не говоря уже о том, что хватала налету все, что только попадало в руки по вопросам общественным? И теперь, когда из затворничества я вышла на свет, я оказываюсь лишенной самых элементарных познаний — все исчезло, вплоть до географии Европы. Мысль о том, что это явление временное и происходит от слишком крутой перемены в жизни, не приходила мне в голову, хотя я раньше из книг знала поразительные случаи исчезновения памяти от переутомления или нравственных потрясений. Вероятно, все эти примеры и случаи тоже улетучились из моей головы со всем прочим. Ослабления зрения и осязания, которое удивляло меня в Петропавловской крепости, теперь не было. Там, взяв в руки иголку, наперсток или другой мелкий предмет, я непроизвольно подносила их близко к глазам, будто было нужно удостовериться, что такое в моей руке. В ткани я не могла различить, где изнанка, где лицо, и, надевая в первый раз свое платье, надела его наизнанку. Фасон платья, которое мне принесли, привел меня втупик — я долго не могла сообразить, как его надеть. Теперь это прошло и не приводило в замешательство; но угнетенное состояние от сознания, что я позабыла все, что знала, было тем сильнее, что я не решалась поделиться с кем нибудь своим горем: мне было стыдно признаться в таком несчастьи и страшно, как бы это не открылось как нибудь само собой. Этот страх был только частный случай общей стихийной боязни людей и жизни, которая мучила меня и весь год перед выходом из крепости. Особенно ужасала меня возможность встретиться с кем нибудь, кого я знала молодым, бодрым и жизнерадостным. Тяжесть первой встречи с родными всегда стояла в моем уме. Ведь характерно, что сестре Лидии я *только* через две недели могла сказать: „теперь я узнаю тебя". Хотелось, чтобы прежние товарищи помнили меня такой, какой я была в дни борьбы рука об руку с ними, и самой хотелось сохранить светлые воспоминания о них в былые дни; не

хотелось ставить кресты и класть надгробные плиты на прошлом. Поэтому я решительно отклоняла подобные встречи. Мой товарищ по суду Спандони мечтал приехать ко мне, но так и умер, не повидавшись; хотя, как после его смерти мне писали близкие его, это лишило его одной из больших радостей жизни. А мне казалось, что кроме страданья ничего не может дать свиданье после 22 лет разлуки. И не один раз мне пришлось послать отказ на подобную же просьбу. Мне было так тяжело жить, что прибавить тяжести еще, хотя бы на золотник, я не могла и не хотела. И невозможно было кому нибудь сказать об этом.

Итак, хотя меня не оставляли одну, и сестры по очереди жили со мной, духовно я вела свою особую одинокую жизнь. Незадолго до рождества Евгения уехала, а накануне нового года приехала Александра Ивановна Мороз. Часов в 11 вечера к крыльцу подъехала повозка; фигура, закутанная в меха, вошла в переднюю, и звонкий голос спросил: „Узнаешь?“ Голос был знакомый, хотя в последний раз я слышала его в 1878 г. Лица среди мехов и платков нельзя было разглядеть. Но когда зимнее одеяние было сброшено, предо мной была милая Сашечка, которую я знала, как Корнилову [1]). Хотя она и изменилась, но изменилась гармонически, и я без чувства отчуждения, с радостью обняла ее, признав тотчас же, без смущения и замешательства, за свою, родную и милую, с которой рассталась так давно. Но, после первых излияний, скоро тяжесть навалилась на мою душу и присутствие старого друга вблизи обременяло, вместо того, чтобы веселить меня. Она чувствовала это и после говорила мне, что не знала, как ей быть: уезжать или оставаться?

В это время я жила уже на другой квартире; первую довольно было перенести и один месяц. Едва поселившись после приезда, я уже искала что нибудь более подходящее и, однажды гуляя по деревне, набрела на маленький домик, отстроенный лишь вчерне.

---

[1]) Член кружка Чайковцев.

Ни оконных рам, ни печей, ни дверей, ни даже крыльца не было, так что я вошла в него по колеблющейся доске, положенной с улицы. Хозяин и его старший сын были ямщиками и, вместе с тем, плотниками. Узнав, что я наняла бы домик, еслиб он был готов, они обещали в течение месяца вполне оборудовать все

Домик, в котором я жила в Нёноксе с 20 дек. 1904 г. Верхний этаж был необитаем

необходимое и даже выкрасить пол и оклеить стены обоями.

Действительно, ровно через месяц, к 20 декабря, все было готово, и за 10 рублей в зимние месяцы, 6 рублей — в летние я могла занять его и отпраздновать еще при сестре новоселье. Курьез вышел с обоями; хозяин предоставил мне самой выбрать их в том универсальном магазине, который в Нёноксе играл роль парижского Bon Marché. После хмурых стен тюрьмы я хотела иметь перед глазами что нибудь

веселенькое и для будущей столовой остановилась на обоях белого цвета с букетами из роз. Разглядывая обои в лавке, я смотрела на отдельный букет и думала, что будет красиво. Каков был мой ужас, а потом смех, когда стены комнаты зарябили в моих глазах десятками крупных ярко-красных роз с не менее ярко зелеными листьями! Эту пестроту и краски едва могло выносить самое неприхотливое зрение. Изящество моего вкуса, перевоспитанного тюрьмой, сказалось во всей силе.

Никогда еще после Шлиссельбурга я не была в таком отвратительном настроении, в каком накануне нового года меня застала Александра Ивановна. Неделю перед ее приездом я провела в одиночестве, и, кажется, в этом-то и заключалась причина того, что моя тоска невероятно обострилась. Сестра Евгения уехала, Александра Ивановна еще не приехала, и я в первый раз в ссылке осталась одна-одинешенька. И вот, заброшенная в суровый ледяной край, я впервые должна была опять, уже *вне* тюрьмы, вполне прочувствовать жизнь без единого товарища. В первый месяц присутствие сестер постоянно держало меня в приподнятом настроении, подбадривало и развлекало. Было с кем поговорить, когда была к тому охота, а нет—я уходила в свою комнату и занималась, не давая себе времени для размышлений. Я переводила с французского Фабра, его замечательные очерки по энтомологии; выписала журнал „Cosmopolis“ и перевела с немецкого воспоминания Фонтана о революции 48 года в Берлине—вещи, которые нигде потом не были напечатаны; рисовала и раскрашивала карты континентов в различные геологические эпохи; немного гуляла. Морозы стояли трескучие—дух захватывало, когда, бывало, выйдешь на улицу, а местные женщины, с удивлением видишь, проходят, накинув на себя только шаль. У них, оказывается, вовсе и шуб нет, одни мужчины ходят в полушубках и тулупах.

Кроме присутствия кого нибудь из сестер, первый месяц пребывания в Нёноксе очень скрашивали мимолетные посетители. По случаю рождения наследника

многие административно-ссыльные были амнистированы и возвращались из Александровска, Кеми, Колы и других северных захолустий губернии. Вся ссылка знала, что я живу в Нёноксе, и никто не проходил и не проезжал, не побывав у меня. Тут были: крестьяне и техники, рабочие и учителя, студенты и статистики со всех концов России. Молодые, бодрые, готовые тотчас же снова броситься в деятельность, они производили самое приятное впечатление. Ссылка не охладила их стремлений к свободе; для иных она была школой, которая закалила характер, а люди мало культурные развились и умственно окрепли в ней. Особенно понравился мне своей наивностью и простодушием один крестьянин из Калужской губернии. „Сторона наша темная, рассказывал он, я и грамоте-то не был обучен; только в ссылке свет увидел. Да жаль, скоро воротили; еще бы годик либо два побыть—совсем бы просветился". Этот крестьянин жил на одной квартире с пятью другими ссыльными. Они обучили его грамоте, занимались с ним арифметикой, географией, развили разговорами и чтением вслух. Все у них было общее, и такая совместная жизнь не могла не повлиять на психологию человека, никогда раньше не бывавшего в постоянном общении с интеллигентами.

Другим ссыльным, понравившимся мне, был серьезный, задумчивый волостной старшина Чебоксарского или Царевококшайского уезда, красивый брюнет лет 35. Он попал в ссылку за какую-то историю с местными властями, историю, в которой он защищал интересы крестьян своей волости. Хороши были и московские рабочие, люди развитые, вдумчивые, не отличавшиеся по своему развитию от студентов. Многие из этих посетителей были слишком легко одеты; статистик из Тамбова возвращался в пальто и галошах, хотя на дворе было—35°. Я очень беспокоилась, что он замерзнет, не доехав до железной дороги в Архангельске. Некоторым я предлагала деньги, но невозможно было уговорить даже самых нуждающихся принять от меня золотую монету. А между тем, как раз в это время вышел циркуляр, лишавший ссыльных права дарового

проезда на лошадях. Приходилось нескольким человекам складываться, чтоб нанять подводу, и они ехали в розвальнях на одной лошади в снежную вьюгу и в лютый мороз, совершая дальний путь до Архангельска. А иные—шли пешком.

За месяц я перевидала несколько десятков этой молодежи. Они приходили; сестра поила их чаем и угощала тем, что случалось под рукой; они рассказывали, за что попали в ссылку, о своей жизни в ней, и, побеседовав часа полтора, спешили продолжать путь; мы тепло расставались, чтоб уж никогда не встретиться— так далеко они должны были рассыпаться по лицу земли русской.

Таким образом этот первый месяц, от 18 ноября до 20 декабря, я имела не одну минуту удовольствия от встреч с новыми молодыми товарищами, приносившими мне привет и ласку. Их молодость и бодрость радовали и заражали верой в будущее нашей родины.

Теперь было не то. Поток ссыльных прекратился, сестры уехали, и я оставалась одна в шести верстах от Белого моря. Одних неистовых ветров с моря было достаточно, чтобы расстроить нервы. Они свирепствовали, главным образом, по ночам и порой совершенно не давали спать. Если в первой квартире ветер шелестил обоями, которые отстали от стен, то маленький домик со множеством окон он пронизывал насквозь; он колыхал занавески, повешенные вместо дверей, и, казалось, готов был сорвать домик с земли и умчать в море. К одной из наружных стен был прикреплен высокий шест, на котором весной хотели поставить скворешницу; этот шест при каждом порыве бури скрипел, как мачта на судне. И мне мерещились волны, оборванные паруса, море, готовое поглотить меня.

Холод в моем домике при ветре был нестерпимый. Случались дни, когда, одевшись по-утру и не будучи в состоянии переносить стужу, я укладывалась в постель, покрывалась шубой, и Груша, моя прислуга, приносила самовар, который должен был весь день кипеть,

чтобы, стоя на табурете подле кровати, играть роль грелки. Было так холодно, что я не могла держать в руке книгу, да я и не могла что-либо воспринять из нее: казалось, самая мысль цепенела и застывала от ледяной стужи окружающего воздуха, и я лежала по целым дням неподвижная, окоченевшая, с одним сознанием бесцельности и нелепости подобного существования. К тому же я хворала; у меня была ангина, которой я заболевала каждые 10—14 дней; так с непривычки мне было трудно переносить холодный климат этих широт.

Мне не к кому было пойти; ни одного товарища, ни одного—равного мне. Нечем было развлечься, кроме разговора с маленьким нищим, которого для прокормления мать посылала собирать милостыню. Каждое утро этот пятилетний крошка стучался в мою дверь, и я угощала его чаем с булкой. С достоинством говорил он, что „кормит свою мать", и однажды поразил меня ответом на вопрос—зачем ему мать? Задавая этот вопрос, я соблазняла мальчика, уговаривая остаться у меня навсегда. „Разве тебе нравится ходить по миру и собирать куски Христа ради?" спрашивала я. Нет—ему не нравится. „Ну, вот, будешь жить у меня, так не придется просить милостыню; у тебя все будет. Я сошью тебе красную рабашку и куплю сапожки". А как же мама?—спрашивал ребенок. „Мама будет работать, и работа прокормит ее. Ты подумай только: вместо того, чтоб с сумой ходить, ты будешь жить в тепле, я буду учить тебя, потом отдам в школу. Оставайся-ка?.." — А как же мама?—повторял Ваня. „Ну, что же мама! Зачем тебе мама?" говорила я.

Ребенок молчал, потом поднял голову и с улыбкой привел неотразимый аргумент:

— *Зачем?..* А мы вечером обнимемся да и спим,— сказал он.

Этот милый ответ бил прямо в центр. *У него было кого обнять; и у его матери был он, которого она могла обнять*: была привязанность, любовь, ласка. У меня ничего этого не было. Мне не с кем было даже поговорить, и все, что было мрачного и горького в моей

судьбе, вставало в памяти и заслоняло весь горизонт. Казалось, будущего у меня нет и быть не может. Если бы мое одиночество продолжилось неопределенное время, еслиб Александра Ивановна не приехала разделить мою жизнь в этих условиях, и я была бы предоставлена самой себе в этой безбрежной снеговой пустыне, в этом холодном безлюдьи,—разве смогла бы я победить себя, победить непреодолимое стремление погрузиться в Нирвану?

Вскоре после моего приезда в Нёноксу, в один несчастливый для меня день и час, в сумерки, перед тем как зажигают огни, сестра Ольга открыла мне то, что до тех пор скрывала. Она сказала: „Верочка. Твой товарищ Янович в Якутске застрелился; он не мог жить". Как подкошенная, я грохнулась во весь рост на пол с рыданьем. Склонившись надо мной, сестра, чтоб исчерпать сразу весь ужас известий, сказала: „И Мартынов, твой товарищ по Шлиссельбургу, тоже застрелился в Якутске". И потом в третий раз сестра сказала: „И третий товарищ твой, Поливанов, тоже застрелился—за границей".

А я лежала на полу и все рыдала, и все повторяла одно и то же слово: „*Зачем?*"

Теперь, когда я была одна, я опять испила всю горечь отчаяния по поводу этих самоубийств после Шлиссельбурга, самоубийств „*на свободе*" тех, кто исжил в заточении свои силы. В эти 7 или 10 дней, когда я была так нестерпимо одинока, я осознала причину этих самоубийств, я поняла всем существом своим то „*зачем*", о котором спрашивала, рыдая на полу.

А я? Разве я не изжила всех своих сил?!

ГЛАВА IV.

Волнующие вести.

В начале 1905 г., в посаде Нёнокса, в условиях ссылки, в которой я находилась, субъективная ценность жизни казалась мне ничтожной, а объективно оценка ее никогда не стояла так высоко. В моей душе был распад и холод, а в общественном отношении чувствовалось приближение великого исторического перелома, обещающего обновление и творчество лучших форм государственного и социального строя.

Когда я вышла из Шлиссельбурга, старые друзья, пережившие реакцию 80-х годов, приветствовали меня, говоря, что я возвращаюсь в жизнь в хорошее время, когда общественное настроение неуклонно идет на повышение.

Еще в 1901 году, когда в Шлиссельбург к нам был привезен Карпович, мы получили от него вести, способные воскресить мертвых. С 1884—87 гг., как об этом подробно рассказано во II-й ч. „Запечатленного Труда“: „Когда часы жизни остановились“, мы ничего не знали о революционном движении: новых узников к нам не привозили. Карпович был первой залетной ласточкой, первым представителем нового поколения, выросшего после нас. То путем тюремных хитростей, то открытой силой мы сумели получить от него подробные сведения о том, что делалось и делается на свободе. Нарисовав картину общего пробуждения России и того действенного духа, который веял по всей стране, он пророчествовал, что через пять лет в России будет революция.

Понятно, что на первых же порах, когда явилась возможность видеться в Петропавловской крепости с родными, я хотела узнать, каково общее положение дел. После первого свидания, которое было в условиях строго оффициальных, ни смотритель, ни жандармы при наших встречах обыкновенно не присутствовали. Мы виделись не там, где всегда дают свидания, а в одной из комнат квартиры смотрителя Веревкина, товарища по артиллерийской академии моих сопроцессников: Похитонова, сошедшего с ума и умершего, и Рогачева, казненного. На столе мы находили предупредительно сервированный чай, стоял самовар, сласти. Мы могли сидеть по семейному и так долго, как хотели. Но меня беспокоило, что в сравнительно небольшой комнате было три двери: не стоит ли за какой-нибудь из них посторонний слушатель? Сестры и братья смеялись, но я по временам тихонько подходила по очереди ко всем трем и внезапно открывала, чтоб поймать на месте воображаемого шпиона. Нечего и говорить—за дверями никого не было. Тогда я спрашивала, что делается в России? О чем говорят, чего хотят, на что надеются? Сказать правду, ответы были далеко не такие, каких можно было ожидать на основании рассказов Карповича. По словам родных, все было тихо; ничто не предвещало близости государственного переустройства; амнистия, объявленная по случаю рождения давно жданного наследника, не распространялась на русскую Бастилию—Шлиссельбург. Когда брат Лопатина спросил об этом министра Святополк-Мирского, тот ответил: „амнистия коснется вашего брата, если он подаст просьбу на высочайшее имя".

Итак, дело моих товарищей было в данную минуту безнадежно, и общее положение не сулило перемен в близком будущем.

Но эти ответы объясняются тем, что мои родные стояли слишком далеко от активных элементов нашей родины и были плохо осведомлены о настроении низов и революционных партий. Только раз, один из родственников—М. П. Сажин—торопливо сказал мне: „Вы представить себе не можете, как разрослось револю-

ционное движение: там, где прежде были единицы и десятки, теперь—сотни и тысячи. Рабочие и учащаяся молодежь волнуются повсюду. Стачки и демонстрации следуют одна за другой; один из прокуроров, ведших следствие по вашему делу, Богданович, занимавший должность уфимского губернатора, убит не так давно за репрессии против рабочих. Самым видным революционным деятелем последнего времени был Гершуни"... Эту же фамилию, услышанную в первый раз, я нашла нацарапанной на железном столе в камере, которую я занимала. Так я узнала о Гершуни, который, неведомо для нас, находился в то время в Шлиссельбурге, но содержался изолированно в старой исторической тюрьме, отделенной от нас обширным двором и стенами прежней цитадели. Эти наскоро сообщенные сведения были единственными, пока я находилась в Петропавловской крепости. Но, как только я попала в Архангельск и потом в посад Нёноксу, иные новости и известия стали доходить до меня. Рассказы надзирательницы и смотрителя архангельской тюрьмы о пересыльных „политиках", поведение архангельских ссыльных по отношению к местным властям и их отношение ко мне, настроение административно-ссыльных, возвращавшихся через Нёноксу в Россию,—все говорило о сильном возбуждении, о действенном духе, который одушевлял молодое поколение. Все бурлило и клокотало, но еще разрозненное, не объединенное в общий порыв. Уже из архангельской тюрьмы я писала сестрам, что Россия представляется мне богатырским детиной, выросшим из своего платья: он делает движение—и при каждом повороте плеча, жесте рук, платье разлезается по швам. Недовольство, накоплявшееся десятилетиями, обостренное военными событиями, требовало себе исхода. Японская война с самого возникновения, в течение 8 месяцев, приносила вести лишь о неудачах и поражениях наших войск: битва при Ялу, неудача эскадры Витгефта, битвы при Ляояне имели место еще в то время, когда я была в Шлиссельбурге; о них я узнала только теперь из журналов и старых газет. Но отправка эскадры Рождественского на Даль-

ний Восток и инцидент в Северном море, когда при Доггербанке был произведен разгром рыбачьей флотилии, создавший большие дипломатические затруднения, произошли уже после моего выхода и непосредственно приобщили меня к чувствам возмущения, волновавшим всю Россию; правительство оказывалось негодным даже в области материальной защиты страны. Снаряжение и снабжение армии было из рук вон плохо, санитарная часть—в состоянии ниже всякой критики. Казнокрадство, хаос, неспособность командующих на ряду с самоотверженным героизмом солдат поражали все сердца ужасом и негодованием. Война, бывшая с самого начала непопулярной, и о которой, по слухам, Плеве цинично сказал, что маленькое кровопускание будет небесполезно для России, превращалась в ужасающее кровопролитие, в драму, где на одной стороне стояла автократия, а на другой—русский солдат и весь народ русский. Трагические вести с моря и с суши на Дальнем Востоке, общественные выступления, террористические акты, указы и манифесты правительства, видевшего, что вся страна в брожении,—все это держало нервы всех и каждого в лихорадочном напряжении. И по мере того, как развертывались события, общественные силы все более приходили в движение, сплачивались и организовывались. Правительство, разбитое военными неудачами, робело и отступало; противная сторона смелела и наступала.

6—9 ноября в Петербурге состоялся съезд земских деятелей, разрешенный неоффициально. Он должен был формулировать основные требования общества, и таким требованием съезд признал созыв народных представителей с *законодательными* правами. Собравшимся деятелям посылались со всех концов России приветственные телеграммы с выражением сочувствия и обещанием поддержки. Из Архангельска, после споров, „политики“ тоже послали приветствие, а правительство, как бы в ответ съезду, опубликовало 12 декабря указ с неопределенным обещанием реформ вообще.

9 января 1905 г. столичный пролетариат вышел на улицы Петербурга, чтоб подать царю петицию, кото-

рая заключала все основные требования политической свободы. И когда произошла неслыханная бойня, и кровь рабочих, их жен и детей пролилась—вздрогнула вся Россия. Сестра Ольга, все время пополнявшая своими письмами из Петербурга известия, которые я черпала из газет, подробно описала мне трагические события этого дня; она прислала мне и текст обращения народа к государю, а также карточку Гапона в одежде священника. Я была потрясена и плакала от чувства симпатии к жертвам и от огорчения, что в этот день я была в Нёноксе, а не на улицах Петербурга. Я была еще под впечатлением этих событий, когда из Петербурга ко мне приехала княжна Мария Михайловна Дондукова-Корсакова. Я сказала ей: „Еслиб я была в Петербурге, я стояла бы рядом с Гапоном".—Нет,—возразила она,—вы не встали бы рядом с ним.—„Но почему же?" с неудовольствием спрашивала я.—Да потому,—отвечала Мария Михайловна,—что вы человек искренний, а Гапон—честолюбец и лжец.

Я была возмущена и просила объяснить, на чем основано такое мнение. Оказалось, что Мария Михайловна, посещавшая столичные тюрьмы, бывала в Литовском замке, где настоятелем церкви был Гапон, и, как таковой, он не удовлетворял требованиям глубокорелигиозной княжны: он был небрежен в исполнении своих пастырских обязанностей; по целым часам заставлял прихожан ждать себя в церкви, вызывая таким невниманием общее недовольство паствы. Других фактов, которые показывали бы отсутствие необходимых моральных качеств, Мария Михайловна привести не могла и о неискренности Гапона судила по общему впечатлению. Она нисколько не поколебала моего отношения к этому необыкновенному человеку, владевшему редким даром увлекать и вести за собой толпу. На революционном поприще он являлся первой, единственной личностью в этом роде. Его последующее поведение, аморализм, политическая неустойчивость и измена не меняют представления о нем, как о силе, до тех пор еще невиданной на страницах русского революционного движения.

4 февраля в Москве произошел террористический акт партии социалистов - революционеров — убийство великого князя Сергея Александровича.

18 февраля—издан манифест о реформе государственного строя; 16 апреля—указ о свободе вероисповедания.

Сидя у окна в маленьком домике в Нёноксе, с большим подъемом мы с Александрой Ивановной Мороз читали этот последний указ.

— Сейчас же перехожу в лютеранство,—воскликнула Александра Ивановна.

— И я тоже,— поддержала я своего друга, и мы стали смеяться над поспешностью, с какой обе хотели сбросить бремя оффициального исповедания.

— Нет! знаешь, испытаем, сначала, как Владимир святой, все веры и тогда уж решим,—благоразумно посоветовала я. И мы стали перебирать одно за другим все западно-европейские исповедания, потом перешли к русским рационалистическим сектам. Но нигде не находили себе места.

— Не пойти ли нам в штундисты?—предложила я. Однако, и это было отринуто сейчас же...

Время наше еще не пришло: мы, интеллигенты, так далеко забежали вперед, что всякое оффициальное исповедание было бы для нас актом лицемерия. Все, что ни возьми—было бы ложью. Мы—свободные мыслители и не можем уложить себя в какие-либо установленные рамки. Для нас самое лучшее—остаться в исповедании, к которому мы причислены при нашем рождении, заключили мы свой разговор после указа, радостно взволновавшего нас своим содержанием.

И не один этот акт—каждый номер газеты, журнала приносили какую-нибудь волнующую весть с Востока или из внутренней жизни России. В дополнение к этому приходили письма, описывающие то, что происходило в столице: лозунг—учредительное собрание, всеобщее избирательное право, прямое, равное и тайное; свобода слова, собраний и союзов—проносился из конца в конец по городам России. На всевозможных заседаниях, собраниях и банкетах повторялись одни и

те же требования, принимались одни и те же резолюции.

И в это-то время, чреватое многознаменательными событиями, в которых предуказывались будущие судьбы нашего отечества, я жила в мертвом, малокультурном крае, где все молчало и жило жизнью чуть не доисторических времен, в крае, куда в народную массу не достигало биение пульса столиц и городов, где не слышалось великих лозунгов, не было великих надежд и упований, и все сводилось к борьбе с окружающей природой для добывания средств к скудному существованию...

ГЛАВА V.

Княжна Марья Михайловна Дондукова-Корсакова.

Во II главе я уже упоминала вскользь имя Марии Михайловны Дондуковой-Корсаковой. Подробности об этой глубоко-религиозной, умной и энергичной аристократке, друге митрополита Антония, изложены в моей книге: „Запечатленный Труд", ч. II. „Когда часы жизни остановились". Желающие могут обратиться к ней. Здесь же скажу только, что переступить с разрешения Плеве порог нашего заколдованного царства ей удалось, благодаря тому, что, одушевленная духом прозелитизма, она надеялась, что нас, атеистов-народовольцев, ей удастся вернуть в лоно православной церкви. Хотя Марья Михайловна с достаточной ясностью могла видеть, что ее старания в этом направлении не приведут к желанным результатам, все же она с упорством преследовала свою цель и, конечно, в тех же видах в письмах ко мне не раз выражала желание приехать в Нёноксу.

76-ти летней старухе ехать по железной дороге одной в Архангельск, а потом 70 верст на лошадях, чтоб жить со мной в избушке, где ветер с моря дует из щелей стен, от окон и с пола, казалось мне невозможным. Я сопротивлялась ее желанию изо всех сил, но 22 января 1905 г. эта неутомимая поборница Христа все-таки прибыла в наш посад. Она так много надежд возлагала на эту поездку ко мне!

Жена губернатора, г-жа Бюнтинг, которой Марья Михайловна сделала визит в Архангельске, встретила

ее чуть-ли не так, как сибирские губернаторы встречали в свое время жен декабристов, ехавших к мужьям, так ни с чем несообразно казалось ей, что княжна стремится к бывшей шлиссельбургской узнице.

Марья Михайловна приехала в Нёноксу в 8 часов вечера и такая оживленная и энергичная, словно сделала крошечное путешествие. Однако с первых же слов она заявила, что, на случай своей смерти у меня, она предупредила своих родственников, чтоб ее не перевозили на родину, а похоронили на месте, в Неноксе.

Такое введение в совместную жизнь смутило меня: нервы мои были расстроены, я сама нуждалась в уходе, и, вот, предо мной перспектива удручающих сцен болезни и смерти человека, потратившего последние силы на то, чтоб повидать меня в Архангельской глуши... К счастью, все опасения были напрасны, и все время пребывания в Нёноксе Марья Михайловна была здорова и проявляла энергию и кипучую деятельность, которым мог бы завидовать любой юноша. И это с первого же дня: когда по приезде в 10 часов я предложила итти спать, и мы разошлись, Марья Михайловна долго сидела с лампой, читая священное писание, а на утро в 7 часов, не ожидая чая, ушла в церковь. После этого тотчас познакомилась с местным священником и в течение шести недель не пропускала ни одной церковной службы, беспрестанно заказывая молебны и панихиды.

В это время я получала много писем от ссыльных: я читала их Марье Михайловне, и на каждое их горе она откликалась своим сердцем. Одно письмо было с крайнего севера, из какого-то жалкого поселка в несколько избушек далеко на Кольском полуострове. В нем описывались тягости изолированной жизни интеллигентных людей, заброшенных в этот медвежий угол. Ужас одиночества, стужа и скудость северной природы, материальная нужда и полное отсутствие пищи для ума...

— Не поехать ли мне к ним?—воскликнула Марья Михайловна.—Быть может, я облегчу им жизнь.

Милая Марья Михайловна! В каком мире иллюзий она жила! Не утопией ли была эта мысль о поездке на

Колу? Не наивно ли было представление о возможности быть полезной в обстановке, в которой люди мерзли от холода и не имели даже ржаного хлеба?...

Однажды я рассказала Марье Михайловне, что круглый год из Архангельска во все стороны к Белому морю по этапу отправляются ссыльные, уголовные и политики, и что они претерпевают на пути всевозможные лишения, ночуя, после утомительного дневного перегона пешком, в стужу и нередко почти в лохмотьях, на этапном пункте по 40 человек в простой крестьянской избе, где нельзя даже согреться чаем... Услыхав об этом, Марья Михайловна возгорелась желанием, во что бы то ни стало, притти к ним на помощь. 40 человек—в одной комнате! Иззябшие, мокрые от снеговой бури, целый день ничего не евшие! И на этапе ни ложки горячей пищи, ни чашки чаю!

„Это невозможно! Начальство в Петербурге, конечно, ничего не знает об этом, а если узнает, то все сейчас же изменится. Я напишу в тюремный комитет, говорила она.—Напишу знакомым членам государственного совета, буду просить поддержки митрополита Антония".

И, вот, в промежутках между посещеньями церкви днем и коленопреклоненными молениями ночью, эта престарелая женщина, столь слабая, что для поддержания ее организма каждые два часа требовалось подкрепление в виде чашки молока, какао, булочки или яйца, эта немощная телом, но сильная духом женщина без устали писала и во все концы рассылала трогательные послания об ужасном состоянии этапов и, взывая к христианским чувствам, с детской верой стучалась во все двери...

Но не одни слова расточала она, а перешла и к делу. Дав денег, горячей речью она убедила жену священника поить чаем каждую вновь прибывшую партию и оделять всех белым хлебом. И в ближайший день в Нёноксе это было осуществлено.

Мало того, в ближайший этапный пункт на имя священника Марья Михайловна послала также денег и письмо с инструкцией о подобном же употреблении их.

Власти однако не дремали, и в то время, как Марья Михайловна с одушевлением рисовала мне картину, как по мановению доброжелательного начальства на скорбном этапном пути выстроятся чистые просторные домики с кухней, где каждую партию будут встречать опрятная койка, горячий ужин и чай—эти власти уже предпринимали меры против едва начинавшихся чаепитий, устроенных княжной.

В следующее же прибытие партии ссыльных произошел разгром: урядники и становой прогнали „матушку" со всеми принесенными булками и прочим запасом, а на следующем этапе даже и раз не дали попить чайку.

Надо было видеть возмущение княжны. Не позволять поить чаем иззябших, голодных людей! Видеть что-либо предосудительное в этом, запрещать такую невинную братскую помощь нуждающимся! Запрещать *это ей, ее сиятельству*, как с почтением величали ее тот же пристав, припадавший к ее ручке, и урядник, стоявший перед ней на вытяжку!

Скрывшись за легкую занавесь моей комнаты, я слышала всю сцену между становым, не знавшим, что ему делать, и разгневанной княжной, на минуту забывшей о непротивлении злу и вспомнившей внезапно о своем титуле...

Так, вся молодая энергия, поистине изумлявшая и восхищавшая меня, пропала даром. Петербургские вельможи и сановники при всем почтении к сестре того, кто вводил в Болгарии конституцию, а потом был наместником кавказским, не откликнулись сочувствием на призыв энтузиастки.

Из понятной бережности я избегала вступать с Марьей Михайловой в религиозные прения и предпочитала молчать, когда она начинала речь о духовных предметах, но Александра Ивановна Мороз мужественно принимала вызов, и тотчас возгорался жаркий спор. Кроме разных догматических пунктов дебатировались главным образом вопросы о средствах борьбы со злом. Допустимо ли отражать зло злом, применяя силу, совершая насилие? Сторонница непротивления

злу и борьбы с ним путем кротости и убеждения, Марья Михайловна, красноречиво защищала свои положения, а моя подруга говорила от разума и блистала остроумием и логикой. Признаюсь, я с удовольствием слушала эти споры, во время которых эти две умные женщины, сверкая глазами, боролись путем слова, исходя из совершенно различных мировоззрений, а я, как гостеприимная хозяйка, оставалась пассивной слушательницей. Обыкновенно дело кончалось общим смехом, потому что утомленная и пришедшая в конце концов в замешательство Марья Михайловна складывала оружие и, подняв глаза кверху, произносила: „Об одном молю: укажи мне, господи, когда говорить, а когда молчать"... Она произносила это так мило и так славно улыбалась при этом, что хотелось расцеловать ее.

Эти схватки и дебаты не прошли бесследно, и, вернувшись в Петербург, Марья Михайловна жаловалась, что не будь с нами А. И., она возвратила бы меня в лоно православия.

Да, Марья Михайловна витала относительно меня в области иллюзий, хотя я не подавала к этому решительно никаких поводов. Разве же это не было в самом деле с ее стороны иллюзией, когда в департаменте полиции моему брату Николаю Николаевичу, пришедшему, кажется, говорить о заграничном паспорте для меня, ответили: „Как же помирить с этим то, что сестра ваша, по словам Дондуковой-Корсаковой, *хочет поступить в монастырь?*" Брат остолбенел и должен был сослаться, что это, должно быть, какое-нибудь недоразумение.

Несомненно, не простое желание видеть меня двигало Марьей Михайловной при трудном путешествии в Архангельскую губернию. Она все время уповала сделать меня своей единомышленницей и мое упорство считала за гордыню. Все время надеялась она, что победит меня, и когда ее нёнокская противница А. И. на время уехала от меня, и мы остались вдвоем, она произвела усиленный натиск, действуя на мои чувства. Лежа на постели, слабая, бледная, она с горечью говорила мне о своей дряхлости, упадке сил и неработо-

способности. Скоро она умрет, и у нее нет преемницы. Она одинока, ей некому поручить продолжение своего дела, нет рук, на которые она могла бы сдать основанную ею общину сестер милосердия в Порхове. Ее скорбные речи и вся печальная, ослабевшая фигура вызывали сочувствие и глубокую жалость. Было так тяжело слушать эту уходящую из жизни женщину, этого истощенного борца за свою идею, сознающего, что дни его жизни сочтены, а дела впереди много. Тягостно было раздваиваться в противоречии: с почтением и любовью стоять перед *личностью* и вместе с тем чувствовать невозможность солидаризироваться с нею, разделить ее цели, ее средства... И эта двойственность от начала знакомства и до конца его постоянно мучила меня. Щемящее чувство еще более обострялось тем отношением, той преувеличенной оценкой моей личности, какая создалась у Марьи Михайловны, и о которой она говорила, не скрываясь.

Да, она хотела иметь во мне свою преемницу. Она находила во мне, по ее заявлениям, родственную душу. Как ни мало она была сведуща в политике и мало знакома с историей революционного движения, все-же, вероятно, достаточно слышала обо мне, как об участнице этого движения, а потом и о перипетиях моего заключения в Шлиссельбурге. И она хотела, поставила себе целью победить, завоевать меня и, уходя из жизни, поставить на свое место меня, как личность, соответствующую ее требованиям.

И никак не могла понять, что, как для нее был неприемлем мой путь, так и мне немыслимо повернуть на другой. Так и расстались мы, любя и уважая одна другую, но чуждые друг другу по мировоззрению и духовным стремлениям...

ГЛАВА VI.

В окрестностях моря.

Александра Ивановна Мороз, приехавшая 31 декабря 1904 г. разделить мою жизнь в ссылке, застала меня в болезненном состоянии одичания, в которое я впадала каждый раз, когда оставалась в одиночестве. В этом состоянии я не могла переносить общества людей: оно и раздражало и угнетало меня. А между тем только общение с людьми должно и могло принести исцеление. В Шлиссельбурге из такого состояния постепенно меня извлекала Л. А. Волкенштейн, когда нам разрешили гулять вдвоем. Теперь то же значение имела Александра Ивановна. Понемногу я привыкла к ее присутствию, и ее деликатность и бережное отношение облегчили мое оздоровление. Молчаливая вообще, теперь она молчала больше, чем когда-либо, и на первых порах держалась поодаль, сидя в другой комнате и занимаясь рукоделием. Благодаря ее спокойствию и ровному характеру, стала мало-по-малу успокаиваться и моя нервная система. Потом, под обаянием ее личности, я стала *нуждаться* в ее обществе, *любить и искать* его. Мы начали вести регулярную жизнь, необходимую для обеих, потому что нервы и общее состояние здоровья моего друга были тоже не блестящи. Мы положили за правило каждый день один час посвящать физическому труду и действительно ежедневно пилили дрова хозяину, а до этого с утра занимались несколько часов переводом английской книжки для изданий Скирмунта. После обеда зимой катались на лошади, знакомясь с окрестностями, кото-

рые сильно привлекали меня. После заключения—на просторе все мне нравилось: и дорога среди снежных сугробов с тощими березками и соснами по краям, и белая, блестящая равнина, на которую ветер навел лоск, и пригорки, мосты и замерзшие речки с закованными льдом баркасами и брошенным на снегу без призора якорем. Книги, журналы и газеты наполняли вечер. Обыкновенно Александра Ивановна читала вслух своим милым мелодическим голосом, который действовал так успокоительно на нервы. А потом после 10 часов мы совершали прогулку, любовались звездами и подстерегали, не засверкает ли чудное северное сияние, о котором знали только по книгам. Но за все время ни разу нам не пришлось его видеть. И жители уверяли, что в этой местности его не бывает.

Начиная с января, благодаря той же близости моря, которая в ноябре и декабре приносила жестокие ветры, температура воздуха стала повышаться; днем бывало уже не 35, а—15°—9°. На пасхе, которая была ранней, я выставила и открыла окно, так было тепло на дворе. Холодные ветры с севера прекратились, но я никак не могла приспособиться к климату и постоянно страдала простудой горла и бронх. Расстройство моих нервов выражалось особенно сильно бессонницей, но ни мне, ни кому из близких не приходило в голову, что мне надо лечиться. Все думали, что время возьмет свое, и болезненная возбудимость нервной системы пройдет сама собой, раз я нахожусь на свободе. Но возвращение к норме не приходило.

Когда снег стаял, мы с Александрой Ивановной стали ходить к морю. До него было 6 верст. Берега Белого моря в этой местности плоски, небо бледное с чуть-чуть голубоватыми оттенком; самое море кажется беловато-серым и не отличается красотой. Но в 12-ти верстах от Нёноксы, у села „Сюзьма", куда однажды мы ездили с Александрой Ивановной, море и окрестности прекрасны дикой мрачной красотой: возвышенные берега обрывисты и круты; высокие темные сосны покрывают их, придавая ландшафту свойственный им серьезный колорит, а море—чрезвычайно тем-

ное, почти черное—производит сильное впечатление. Не раз на берегу моря мы наблюдали прилив и с любопытством измеряли, как далеко на землю наступает он за время нашей прогулки. Множество водорослей, приносимых приливом, остаются на берегу, образуя небольшие холмики. Их обилие дало административно-ссыльному химику, приват-доценту Гольдштейну, впоследствии, в октябрьские дни, убитому в Архангельске черной сотней, мысль о добывании из них иода. Однако, лабораторное исследование показало такой малый процент содержания этого элемента, что промышленная выработка из беломорских водорослей не оправдала бы предприятия. Интересен факт, что Гольдштейн при помощи другого ссыльного, ярославского помещика Кладищева, думал помочь разработке минеральных богатств северного края устройством в Архангельске лаборатории для исследования полезных ископаемых. Деньги были затрачены, лаборатория организована, но, повидимому, время для эксплоатации недр обширной области Севера тогда еще не пришло—лаборатория не находила работы: к ее помощи никто не обращался. Один единственный раз химику был прислан образец руды с просьбой определить содержание металла. Определение было сделано и отослано вместе со счетом. Но счет остался не оплачен предпринимателем. Дело совершенно не пошло.

Каждый раз, когда мы ходили к морю, на возвратном пути мы со смехом находили следы подкованных сапогов урядника, следовавшего за нами издали. Но служебного рвения итти до самого моря у него обыкновенно не хватало. На некотором расстоянии от посада следы прекращались; тут, где-нибудь в кустах, этот соглядатай терпеливо сидел, ожидая нашего возвращения. Но в общем урядники не спускали с меня глаз. Когда я из первой квартиры перешла в отдельный домик, переехали и они, сняв комнату у того же хозяина, как раз против моего крыльца; при этих условиях ни один посетитель не мог ускользнуть от их взоров.

Когда мы выезжали кататься, урядники тоже нанимали лошадь и ехали следом, выхлопотав у началь-

ства особую сумму на этот расход. По ночам в их квартире все время горела лампа, так как они должны были спать по очереди. Начальство почему-то ожидало моего побега. Не считало ли оно само, что условия климата, надзора и изолированности слишком тяжелы, чтоб можно было терпеливо выносить их? Но мои нервы были так расстроены, что не допускали и мысли о каком-нибудь рискованном предприятии. Однажды мне, действительно, был предложен план побега морем в Англию, и, кажется, это можно было осуществить. Однако, если бы здоровье и допустило это, разве я решилась бы потерять отечество, о котором так долго тосковала? „Но вас могут силой похитить революционеры", уверяла меня Марья Михайловна, говоря, вероятно, с чужого голоса. На это можно было только пожать плечами.

За неимением материала для доносов, урядники прибегали к выдумкам. Так, они ознаменовали пребывание Марьи Михайловны большим скандалом.

Однажды священник Нёноксы, сам склонный, по мнению жителей, к доносительству, был экстренно вызван в Архангельск к архиерею. Урядники послали на него извет, будто, после провозглашения в церкви здравия государю и всему царствующему дому, он провозгласил имена Марии Михайловны и мое. Надо было видеть фигуру священника по возвращении из города. Он откровенно рассказал о той „трепке", которую ему задал преосвященный: он распекал, плевался и осыпал священника самой грубой бранью. Трудно было поверить, чтоб церковный иерарх мог спуститься до такой сцены, и однако—это была правда. В заключение архиерей, не слушая никаких объяснений, категорически, под угрозой лишить прихода, запретил священнику какие бы то ни было сношения со мной....

Доносы и слежка урядников иногда выводили меня из терпения, но порой они очень ловко вывертывались, когда я обличала их.

С наступлением весны, в апреле и начале мая, так тянуло на воздух, в поле, к морю, к озеру, которое было недалеко.

Местная флора, отчасти однородная с флорой средней полосы России, отчасти свойственная только северу, очень интересовала меня. Я находила своего рода прелесть даже в тех „луговинках“ то однообразно серого, то бледно-зеленого, то почти белого цвета, которые покрывали склоны невысокой холмистости по соседству с Нёноксой и состояли сплошь из разного рода слоевцевых лишайников. Александра Ивановна подсмеивалась надо мной: растительность севера ей казалась жалкой, к „луговинкам“ из лишайников она относилась с презрением. Но мне на свободном просторе все нравилось и давало удовлетворение. „Сколько воздуха мы вдохнули в этот день. Было так светло, так тепло“, писала я родным после всякой большой экскурсии, и некоторые прогулки глубоко врезались в мою память.

Так, однажды мы ходили с двумя местными жительницами за 12 верст к уединенному месту, привлекающему в определенные дни года множество богомольцев. Но это были не такие дни и, при полном безлюдьи, пройдя болотистыми местами тундры, мы нашли среди большого леса в пустынной местности одинокую скромную деревянную церковь с характерным куполом в виде сосновой шишки и рядом только что отстроенную небольшую гостиницу, необыкновенно уютную, чистую, с еще свежим запахом сосны от стен, неоклеенных обоями. Местечко было прелестное: лес обрамлял поляну, на которой только и стояли—церковь да гостиница. Никакого жилья кругом, одна лишь сторожка с единственным обитателем—стариком церковным сторожем. Ничем не нарушаемая тишина; тишина и покой, зеленый бесконечный лес, раскинувшееся без преград бледно-голубое небо и солнце, все заливающее теплыми лучами... Настоящая пустыня—но пустыня чарующая. И где бы потом я ни была,—в больших городах, как Париж, или в миниатюрных местечках, как Кларан,—везде в моей комнате висела на стене открытка, репродукция картины одного из наших русских художников, которая почти в точности воспроизводит Нёнокскую пустынь. И всегда она вызывала волну нежно-грустного чувства, отклик воспоминания об убо-

гой церкви, погруженной в тишину леса и в своем одиночестве так хорошо гармонировавшей с печальным обликом безлюдного, безбрежного северного простора.

В другой раз мы отправились к Режме, небольшой красивой речке на подобие швейцарских горных потоков, стремительно несущейся в узкой долине среди высоких горных берегов. На противоположном берегу мы зашли в усадьбу, в которой среди хаоса и полного запустения проживал какой-то, как говорили, севастопольский герой, поселившийся лет 35 назад в этих местах для насаждения культуры. Задавшись целью дать заработок местному населению и служить примером в области земледельческой культуры, он арендовал у казны 2 тысячи десятин болот, чтоб осушить их и превратить в луга. Мало того, по его собственному выражению, он хотел „победить самую природу" и из года в год заводил плантации яблонь, вишен и груш. Несомненно, он был маниак: плодовые деревья гибли от мороза, но чудак не унывал и целые десятки лет повторял опыты, затрачивая на них и на затеи по травосеянию все свои средства.

Крестьяне очень эксплоатировали старика, который иной раз нанимал до 200 поденщиков для всевозможных работ по дренажу и т. п. Но канавы не проводились, трав высевалось самая малость, чахлые яблони сохли, во всем хозяйстве царил неописуемый кавардак; но хозяин был счастлив и потирал руки от удовольствия, говоря, что у него все идет превосходно.

Проходя по комнатам, свидетельствовавшим о полном разорении, я случайно заглянула в кухню. К моему удивлению, я увидала в ней одного из моих стражников.

„Вы зачем здесь?"—спросила я сердито.

— К кухарке сватаюсь,—находчиво отпарировал он.

Так, вот, кто был та одинокая фигура, которая резко вырисовалась на горизонте, наверху горы, когда я с Александрой Ивановной по ту сторону потока Режмы подходила к усадьбе чудака, верившего, что он *заставит* свои яблони давать цвет и плод, несмотря на 35-ти и 40-градусные морозы северного побережья.

ГЛАВА VII.

Из Нёноксы в Христофоровку.

Еще в марте был поднят вопрос о переводе меня из Нёноксы в Казанскую губернию, в именье моей тетки Е. В. Куприяновой, но из департамента полиции не было никакого ответа. Только в июне пришло наконец давно жданное решение, и мы большой компанией двинулись из Нёноксы. Кроме Александры Ивановны, с нами были ее сыновья, приехавшие из Москвы недели за две перед тем, и моя сестра Лидия, которой департамент поручил сопутствовать мне до места назначения. Но того же хотела и Александра Ивановна, прожившая со мной почти полгода. Невольными спутниками были два становых пристава из Архангельска, переодетые в штатское. Их я должна была везти на свой счет.

На этот раз архангельские ссыльные, которых раньше мне удалось убедить не делать никаких демонстраций по поводу меня, устроили мне, без моего ведома, большую встречу, которая в то же время была и дружескими проводами. Из Нёноксы, в сопровождении станового и урядников, мы приехали в село Рикосиху, чтоб, переплыв на пароходе Северную Двину, сесть на другом берегу в поезд на маленькой станции под Архангельском. Так распорядился губернатор, чтоб избежать города, где он опасался демонстрации со стороны ссыльных. Но последние во-время узнали о распоряжении администрации и ловко провели начальство.

Когда по приезде в Рикосиху мы отправились пешком к пристани, там уже стоял пароход, который дол-

жен был принять нас. С парохода нам навстречу двигался кортеж: правитель канцелярии губернатора, исправник и полицейские, составлявшие их свиту.

Каково же было наше удивление и смущение полиции, когда к берегу, прежде чем мы добрались до него, причалил другой пароход, и с него высыпала большая толпа женщин и мужчин, направившихся к нам. Это были архангельские ссыльные: адвокаты и студенты, ученые и рабочие, их жены, учительницы, фельдшерицы и др., зафрахтовавшие целый пароход со специальной целью встретить меня в Рикосихе и проводить до поезда.

В одну минуту чины полиции были оттеснены; ссыльные плотным кольцом окружили меня, и начались дружеские излияния, поцелуи и рукопожатия. Один из прибывших, опытный фотограф, имел с собой прекрасный аппарат; по общему желанию, меня с моим спутником — молодым сен-бернаром „Лучком“ — поместили в средине полукруга, образованного ссыльными, и фотография запечатлела памятную сцену. Полиция волновалась, но ее было меньше, чем нас, и мы были господами положения. Исправник и правитель канцелярии спешили поскорее увести меня и торопили взойти на пароход. Но как только мы сделали это, и пароход с начальством отчалил, двинулся вслед и пароход со ссыльными. Большое красное знамя развернулось над их головами, и на пароходе раздалась русская Марсельеза. Наш пароход был большой, с лучшим ходом, но напрасно начальство думало избежать преследователей: маленький пароход ссыльных не отставал. Рабочие-кочегары, посвященные в дело, гнали на всех парах, и как только мы сошли на берег, вышли и ссыльные. Снова полиции пришлось стушеваться, и окруженные друзьями, растянувшись в длинную процессию, мы направились к вокзалу. Правитель канцелярии изо всех сил упрашивал ссыльных оставить меня и удалиться в город. Он увещевал, советовал и грозил, что губернатор разошлет всех в глухие села. Ссыльные не уступали. В конце концов Гольдштейн, ведший переговоры с правителем канцелярии, пошел

Административно-ссыльные встречают меня в Рикосихе на пути из Нёнокса на станцию жел. дороги.

на компромисс: вся компания должна была на вокзале напиться чаю с отъезжающими, а затем, не дожидаясь поезда, проститься и разойтись по домам.

Так и кончилось это маленькое братское торжество.

Из Архангельска ссыльные послали телеграмму в Вологду товарищам, что я еду. Вечером, подъезжая к этому городу, мы стали приготовляться к новой встрече, и я не мало волновалась в ожидании новых приветствий. Между тем на вокзале было совершенно пусто, и мы не мало смеялись над напрасным предвкушением торжеств. Оказалось, телеграмма была предусмотрительно задержана администрацией и во-время по назначению не дошла.

В Ярославле, чтоб ехать дальше по Волге, пришлось ждать парохода. Здесь на пароходной конторке нас ожидала новая встреча с родственниками и друзьями; приходили ссыльные из города; из Москвы приехал муж Александры Ивановны и наш общий старый друг—Вера Дмитриевна Лебедева; из Петербурга приехала проститься со мной Марья Михайловна Дондукова-Корсакова, которую после этого я уже не видала.

В увеличенном составе мы сели на пароход „Братья Дерюгины", причем мои переодетые становые чуть не силой хотели занять каюту 1-го класса, рядом со мной. Любезный капитан парохода, узнав, кого везет, горячо приветствовал меня и предлагал высадить полицейских на первую необитаемую отмель, какая встретится на пути. Этим господам из „дворян", как они себя аттестовали, солоно досталось это путешествие до Тетюш: молодые Морозы, только что кончившие гимназию, все время отчаянно школьничали и потешались над „шпиками". Поминутно они фотографировали их во всевозможных позах и всему пароходу открыли их инкогнито. Те не знали, куда им деваться от шалунов, и горько жаловались, что молодежь „и за людей их не считает".

ГЛАВА VIII.

Пробуждение.

Ничто по выходе из Шлиссельбурга не производило на меня такого впечатления, как вода и небо, которых на просторе я не видала так много лет.

На пути в Архангельск мы переезжали две великие реки: Волгу у Ярославля, а под Архангельском— Северную Двину. В крепости я видала воду только в баке у водопровода, из которого брала воду для поливки растений. Теперь этой воды было много, изумительно много, и она тянула меня к себе: когда в лодке мы переезжали Волгу, я не отрывала глаз от воды и думала все время, как хорошо бы медленно и спокойно со всей лодкой погрузиться в эти воды на самое дно реки.

За несколько дней до отъезда из Шлиссельбурга Морозов передал мне стихотворение, написанное по поводу моего освобождения. Стихотворение описывало радости, ожидающие меня впереди. То были прежде всего радости общения с природой: я увижу горизонт свободный, не скрываемый каменной оградой; увижу ночное небо с его созвездьями; зеленые луга и нежные всходы нив, услышу шелест травы и шум леса.

Я рассердилась. Меня мучил *страх жизни и страх людей*, угнетала *скорбь за себя и скорбь за товарищей;* за себя, потому что я теряю тех, к кому привязалась за время заключения, скорбь за товарищей, потому что они остаются в крепости. И эти два страха и две скорби, то разом, то чередуясь и переплетаясь, владели мной, то осознанные и определенные, то смут-

ные, затаенные в глубине бессознательного. Какой тут горизонт и ночное небо?! Заря утренняя и заря вечерняя?! Ни солнце, ни звезды не шли на ум, и с досадой я сказала Морозову: „Ни к чему твое стихотворенье: не нравится мне оно".

Так было до тех пор, пока я не оторвалась от крепости. А когда оторвалась, понемногу природа стала захватывать меня. В близости к ней, в общении не с людьми, а именно с нею, мое „я" получало первое удовлетворение.

Общение с людьми неприятно волновало меня; они возбуждали во мне тревогу, вызывали совершенно неестественное напряжение; и это утомляло. Одного присутствия, хотя бы молчаливого, кого-нибудь не только в непосредственной близости, но и в соседней комнате, было достаточно, чтобы я уже не принадлежала себе и не была спокойна[1]).

Как птичка, заключенная в клетку, начинает трепетать, если к ее клетке приблизить муфту или кусок меха, так приближение кого-либо ко мне приводило меня в тайный трепет.

В Архангельске, как было уже сказано, меня не освободили, а заключили в тюрьму. Я пробыла в ней целый месяц. Губернатор Бюнтинг находил, что это полезно для меня. Бывали случаи, уверял он мою сестру, что люди умирали, внезапно получив свободу.

Заключение в Архангельской тюрьме он считал стадией, необходимой, как переход к свободе.

Камера, в которую меня поместили, была изолирована от всякого соседства; кругом была такая же мертвая тишина, как в самые строгие времена в Шлиссельбурге, и этот месяц тишины дорого обошелся моим нервам.

У меня было одно утешение: необыкновенно большое окно, выходившее на восток. Каждое утро я стояла перед ним, созерцая зарю восходящего солнца. Вся

---

[1]) „Оставляйте ее, как можно более, одной", наставлял мою сестру Лидию Владимир Галактионович Короленко, при ее отъезде из Петербурга для сопровождения меня в Архангельск. Он знал по опыту, как трудно человеку, привыкшему к одиночеству, быть с людьми.

восточная часть горизонта пламенела золотом и пурпуром: из того места, откуда должно было показаться солнце, далеко в высь шли полосы, подобные струям легкого розового газа, и эти полосы и струи, бледнея, таяли в бледноголубом небе.

Нигде потом, даже в Швейцарии с ее богатыми красками, я не видала ничего подобного этим северным зорям, так пленявшим меня за решеткой Архангельской тюрьмы.

Несколько месяцев спустя, в посаде Нёноксе, хорошо было в теплый мартовский день очутиться далеко в поле среди снегов равнины, раскинутой на берегах Белого моря. Мы шли с Наташей Куприяновой, моей кузиной, приехавшей ко мне со своей матерью всего на 4 дня из далекой Казани. Версты за три от посада было совершенно безлюдно; кругом блестел залитый солнцем снег, и в легком морозе была полная тишина. Хрустел только твердый снег под ногами, да чередовались наши голоса, взволнованные свиданием: мой голос, голос человека, еще отрешенного от мира, да голос Наташи, которая, по аберрации памяти, до этого времени рисовалась мне 6—7 летней девочкой, какой я видела ее в последний раз, а теперь была законченной личностью, созревшей в деятельной любви к человеку и человечеству.

А в суровые зимние вечера, чтоб победить бессоницу, которая мучила меня после Шлиссельбурга, я выходила часов в 10 на прогулку с Александрой Ивановной Мороз, сделавшей для меня в то время все, что только мог сделать самый преданный друг. Мы шли вдоль широких, уснувших улиц, и впечатление темной северной ночи с ее ярко горящими звездами охватывало меня. Ослепительна была Вега; блистала Капелла, и, широко разметавшись на небе, лежал Орион, сверкая своим звездным поясом.

Когда дело пошло к лету, в мае, в тот же поздний час мы выходили из дому. Но в 10 часов вечера в мае было совершенно светло: в это время в этих широтах заря с зарей сходится. На западе небо горело всеми оттенками оранжевого и ярко-красного, и тут же ря-

дом уже рдело кровокрасное зарево—предвестник, что вскоре должно выплыть солнце наступающего дня.

Все это—и снеговые поля, и звезды ночи, и заря дня—все было красиво, доставляло эстетическое удовольствие, и тем не менее я еще находилась в состоянии духовного анабиоза: я еще не проснулась к жизни и не имела *ощущения* свободы. Тяжесть тюремных стен еще сковывала мою душу.

Так было до того времени, когда в Ярославле мы сели на большой пароход „Братья Дерюгины".

На другой день, прекрасный солнечный день, когда мы плыли на всех парах, я вышла утром на палубу. Насколько хватал глаз, я увидала осиянное небо с жемчужными облаками, поля, луга и широкую, могучую Волгу, с детства знакомую Волгу. И когда я вдохнула всей грудью прохладный речной воздух—по мне с головы до ног прошел трепет. Трепетала душа, трепетало тело, и в первый раз после выхода из заключения всем существом своим я ощутила: „Я—свободна!"

То было буйно-стихийное чувство освобождения от оков, первое пробужденье из летаргии.

Нечто подобное много времени спустя я снова почувствовала, когда в Париже в Grand Opéra я слышала романс Чайковского—исполненный артисткой: „*О, лес, о жизнь, о солнца свет, о свежий дух березы!*" вырывалось из груди г-жи Литвин—не пением, а музыкальным криком. Буйной радостью возрождения, диким торжеством пробуждающихся души и плоти могуче и призывно звучал этот дивный музыкальный крик и находил отклик в душе присутствующих. Знакомый трепет пробегал по мне беглым холодком, как смутное напоминание момента, пережитого на пароходе на, с детства знакомой, родной Волге.

...Незадолго до отъезда из Шлиссельбурга жандарм принес мне для излечения раненую птицу. Это была галка, крыло которой было перебито. Завися в своем питании от меня, галка по необходимости вела себя, как ручная: она ела с руки или клевала хлеб с доски, рядом со мной. Прошло дней восемь или десять. Внезапно поведение птицы изменилось: она перестала под-

ходить к корму, совсем перестала есть и, видимо, чуждалась меня. Целыми часами, неподвижная, она сидела на низкой жердочке у куста смородины в то время, как я читала книгу, сидя на скамье. Я наблюдала за ней, отрываясь по временам от книги. Галка внимательно и озабоченно, не шевелясь, смотрела на небо. Пролетали воробьи; пролетали голуби; реяли в воздухе стрижи, во множестве гнездившиеся по стенам крепости. А галка все смотрела и смотрела. Вдруг, она взмахнула крыльями и полетела, поднимаясь все выше, выше в даль.

Я вышла из Шлиссельбурга с крыльями, онемевшими от неподвижности. И, вот, на Волге, которую я знала с детства, перед картиной благодатной шири, знакомой с малых лет, взметнулись эти онемевшие крылья и распустились в первый раз.

ГЛАВА IX.

В родных местах.

Мы прибыли в Тетюши на рассвете, оставив семью Мороз на пароходе вместе с моей племянницей, хотевшей прокатиться с ними дальше вниз по Волге. Я же с сестрой Лидией и полицейскими высадились на берег: тетя и кузина Куприяновы ждали нас на пристани с экипажем, чтоб ехать за 25 верст в их деревню—Христофоровку.

Тут произошло следующее: когда я садилась с тетей в коляску, один из полицейских потребовал, чтоб и ему дали место в ней: он, дескать, должен быть *неотлучно* при мне. Я не соглашалась. Тогда он объявил, что имеет письменный приказ на то, чтоб *день и ночь* быть при мне, так что один из них будет даже *ночью дежурить в моей спальне*, а днем постоянно *сидеть в одной комнате со мной*, причем я не должна разговаривать на иностранных языках, которых они, полицейские, не знают.

Я пришла в бешенство. „Верните меня в таком случае назад в Архангельск", кричала я, не соображая, что не во власти полицейских исполнить это. „Я не пущу вас к себе, и если вы вздумаете итти ко мне в спальню, я буду бить вас зонтиком!"

— Верочка! Успокойся! уговаривала меня тетя, сохранившая наружное спокойствие, хотя была возмущена не менее моего. Мы все устроим: этого не будет. Коля сейчас в деревне, в Васильевке. Мы дадим ему знать, и он не допустит такого безобразия. Завтра же мы поедем с ним к губернатору в Казань, дадим телеграмму в Петербург, и все уладится.

Но я не могла успокоиться. Я переносила все; но когда же *это*, наконец, кончится?! При водворении в Архангельскую губернию, после всевозможных обещаний, надо мной насмеялись, приготовив злую участь; и теперь, подобно тому же, обещали как-будто облегчение, а вместо того устраивали нечто худшее, чем было в Нёноксе: отягощали постыдным надзором, способным отравить жизнь.

Так вот каково мое возвращение в места, дорогие с детства! Пароход „Полундра", что значит: „Берегись", вез меня из Шлиссельбурга, и недаром это слово, как зловещее предостережение, встречало меня на пороге новой жизни. Несчастье ожидало меня в Архангельске в виде приказа о *ссылке в отдаленнейшие* места губернии с непременным условием — не иметь там *ни одного товарища* и оставаться под присмотром двух специально приставленных стражников... И теперь, когда, растроганная до слез, я готовилась после долгой разлуки увидать снова места, где росла в семье, и где все напоминало мать, сестер и любимую няню, вместо слез радости от свидания, на меня обрушивались унизительные условия совместной жизни с агентами полиции. Предостережение оправдывалось: „Полундра" везла меня из крепости, правда, в *новые*, но *какие* новые условия!...

Как я ни волновалась, пришлось подчиниться необходимости и послушаться уговоров родных: полицейский уселся-таки на передней скамеечке нашей коляски.

Какое это было мучительное утро! Все цветы, готовые было распуститься в душе, завяли в это утро. Бессильный гнев, сознание, что я связана по рукам и ногам чужой волей, и не видно ни конца, ни исхода из данного положения... А кругом развертывалась картина, как нельзя более гармонировавшая с настроением „странницы жизни", вернувшейся к давно покинутым родным нивам. Солнце взошло, и, поднявшись на прибрежную гору, мы ехали 25 верст бесконечными однообразно ровными полями, бедными, тощими, со скудной, поблекшей, словно на всем пространстве за-

пыленной, рожью. Четверть века назад я была здесь, и казалось, за этот период земля истощила все свое плодородие, отдала все свои соки, и теперь делала жалкую попытку дать непосильную жатву. Равнина... все равнина; поля—бесплодные, безлесные, тоскливые—они гнетут своим сухим серовато-желтым видом. Все высохло; облака пыли окружают экипаж, а вверху—небо, безоблачное, безнадежно распростертое над засохшей, трескающейся землей; и солнце—безрадостное, безжалостное со своими горячими лучами в сухом горячем воздухе.

И это—возвращение на родину! на любимую родину, после долгой разлуки, украшенной мечтой об этом возвращении. В душе—чувство обиды и злобы, с одной стороны, а с другой—чувство разочарования и грусти, что родина так убога, так жалка; быть может, более убога и более жалка, чем 25 лет тому назад; и это в то время, когда так хотелось бы увидеть ее иной, более радостной, бодрой и цветущей.

В Христофоровке меня ждала моя любимая тетя Головня, с которой я была тесно связана воспоминаниями; та тетя, которая дала мне первый урок, как вести себя при невзгодах жизни. Мы вошли в гостиную; я бросилась к ней... Но как только мы сели, тут же рядом бесцеремонно занял место стражник. И его присутствие сковало молчанием интимность давно жданной, давно желанной встречи...

Нарочный поскакал к брату Николаю в его именье Васильевку, в 7 верстах от Христофоровки. Он тотчас же явился и со свойственной ему горячностью обрушился на полицейских, которым импонировал, как солист его императорского величества. Он изгнал из их голов всякую мысль о *пребывании со мной днем и ночью в одной комнате* и водворил их в кухню до той поры, когда губернатор разъяснит им их обязанности по надзору. На утро брат вместе с тетей Куприяновой отправился в Казань; телеграмма в сто слов полетела к всесильному тогда Трепову.

„Что поделаешь с этими дураками; не находим мы умных людей на такие должности", говорил потом брату Трепов.

Итак, все объяснилось глупостью архангельских становых из дворян, приставленных для надзора за мной. Полицейские водворились в деревне, заняв избу как раз против ворот усадьбы.

Когда я ходила гулять, они, прячась в кустах и деревьях сада, следовали за мной. Деревенского старосту они настроили так, что с улицы он загонял во двор всех ребятишек, и, когда я проходила деревней, она казалась вымершей или покинутой жителями.

Я хотела прежде всего побывать на могиле матери, похороненной в семейном склепе на кладбище села Никифорова в нашем имении неподалеку от Христофоровки.

Стражники воспротивились: я никуда не должна выезжать из своего места жительства. А я сказала, что поеду, и ничто не удержит меня.

Заложили тройку, и я уехала.

Стражники поспешили нанять лошадь и пустились вслед, но тем и ограничились, каждый раз потом провожая меня при выездах к сестрам, съехавшимся в Никифорово и жившим в „старом" доме, обвеянном столькими воспоминаниями и воспетом в Шлиссельбурге:

„Вот деревня. . . вот дом. . . к небесам
Поднимаются стройные ивы. . . [1]).

Дальше этих 7 верст до Никифорова я и не выезжала никуда во все шесть месяцев, проведенные в Христофорове. Хотелось наблюдать жизнь и принимать в ней участие; хотелось подойти к деревне, подметить ее настроение, следить за изменениями ее психологии; хотелось видеть, как отражаются политические события вдали от центров, которые волнуются и шумят, а поле зрения было узко, как в Нёноксе, и всякое порывание к жизни, к людям стеснено усиленным надзором ни в чем не разбирающихся сторожей.

---

[1]) Сборник стихотворений В. Н. Фигнер 1906 г.

Крошечная деревенька Христофоровка состоит всего из 23—25 дворов. Крестьяне, бывшие крепостные моей бабушки, несмотря на уговоры моего отца, мирового посредника первого призыва, не захотели взять полного надела и вышли на четвертной. Можно себе представить, каково было экономическое положение деревни, 40 лет спустя после освобождения. Общий вид ее, как и соседних мелких поселков, был тот же, что и по дороге из Тетюш: он нисколько не улучшился с тех пор, как я видела эти деревни 25 лет тому назад. Те же жалкие избы, те же соломенные крыши. Если изредка встречалось здание, крытое тесом или железом, если по улице шла женщина с ребенком, одетым почище, понарядней, всегда оказывалось, что муж или другой член семьи находится в отходе на заводы Пермской губернии. Избы с наглухо заколоченными окнами тоже свидетельствовали, что земля не может прокормить населения, и хозяева ушли на заработки туда же. Это явление было ново. Прежде такого отхода не было, и о Пермской губернии и ее заводах крестьяне у нас, можно сказать, и не слыхивали. Питание населения резко ухудшилось: в течение 20 лет в Казанской губернии был целый ряд неурожаев. Последняя жатва была неудовлетворительна, и теперь, благодаря засухе, вновь угрожал голод.

Питание часто ограничивалось троекратным чаем с хлебом. По физическому облику, по распространению глазных, кожных и венерических болезней Христофоровка казалась прямо вырождающейся: я не видела в ней ни одного красивого ребенка, и становилось грустно от всей этой нищеты, убогости и безобразия.

За все время лишь однажды я испытала прекрасную минуту. Я гуляла и случайно подошла к одной избе. У открытого окна сидела молодая женщина с двумя детьми. Миловидное лицо матери поразило меня необычайным выражением удовлетворенности и покоя. Перед каждым из детей, несмотря на успенский пост, стояло по чашке молока и лежало по яйцу. Это тоже было необычайно, а довольство, написанное на лице крестьянки, так бросалось в глаза, что я стала спра-

шивать, кто она, откуда. Оказалось, приехала на побывку из Перми, где ее муж работает на Надеждинском заводе, получая 50 рублей в месяц. „До бунта получал 45, а теперь прибавили",—сказала женщина. Что за бунт? поинтересовалась я. „Забастовка",—пояснила собеседница. „Задолго, месяцев за шесть, сговариваться стали", продолжала она: „все друг другу записочки передавали, писанные и печатанные, а потом потребовали прибавку, иначе громить обещали". Из дальнейшего я узнала, что заводская администрация согласилась увеличить плату, но не в той мере, в какой хотели рабочие. Предводители рабочих, которых было двое, советовали не соглашаться, но голоса разделились, и большинство, состоявшее из многосемейных, настояло на соглашении; после этого двое инициаторов покинули завод. „Их выслали? им отказали?"—спросила я.—Нет, они сами не захотели оставаться,—сказала женщина.

На фоне нищеты и уныния, на фоне физиономий с тупым, почти идиотским выражением, которое говорит о вырождении, эта довольная молодая женщина, деревенская мадонна с сытыми, здоровыми детьми, произвела на меня памятное впечатление: „просто свет в темноте", выразилась я в одном из писем того времени.

Наш край не только материально беден, но и духовно—глухой угол и не обладает культурными силами. Ряд высших губернских администраторов путем бесконечной волокиты систематически подавляли те редкие случаи инициативы, которые бывали в деле внешкольного образования. Эти администраторы шли рука в руку с инспекторами народных училищ, стремившимися к тому же. Так, хлопоты моей сестры об открытии библиотеки имени ее мужа на средства, собранные его сослуживцами, продолжались три года, а ее мысль сделать эту библиотеку передвижной—была отвергнута властями [1]). А между тем в уезде, кроме библиотеки

[1]) Эта библиотека имени Флоровского существует и по сейчас (1923 г.) в с. Ямбухтино.

в селе Никифорове, основанной членами нашей семьи, существует и по сейчас (в 1905 г.) только одна единственная, открытая земством в с. Монастырском. Народных чтений в уезде не устраивают даже и теперь (1905—1907 г.г.), потому что инспектора народных училищ запретили пользоваться для них училищными зданиями; а какие же другие помещения, кроме училищ, могли бы служить для этого в деревнях и селах?

Печать забитости и рабства лежит на всем. Из интеллигенции никто не посетил в Христофоровке лично меня—из боязни. И не без основания: учительница, прослужившая в земстве целые 29 лет, была уволена в 1905—1906 г., потому что случайно однажды я заехала к ней, отправившись за 18 верст в село Шонгуты для покупки ситцу. Урядники бросились за мной в погоню и, нагнав на полпути, требовали, чтобы я вернулась; а я сказала кучеру: „Василий, гоните!"

За самовольную отлучку из места жительства полиция предала меня суду земского начальника, и курьез состоял в том, что в то время, как с разрещения департамента полиции я была уже заграницей, надо мной еще висела угроза тюремного заключения за отлучку для покупки нескольких аршин ситца.

Из расспросов моих родственников — старожилов уезда—было явно, что во всем земстве не было и нет ни одного энергичного поборника народного образования, и во всем уезде — ни одного сколько-нибудь заметного культурного деятеля. Тетюшское земство всегда отличалось неподвижностью и равнодушием к просветительным нуждам населения. В уезде в 1905 г. числилось всего около 65 школ; из них 25—26 земских, остальные—церковно-приходские, причем в последних учительницы получали 10 р. в месяц! Они голодали, ходили в стоптанных башмаках, путались в долгах, а по умственному развитию были не выше полуинтеллигентной кухарки в хорошей семье. Какую культуру могли вносить в деревню эти 10-ти рублевые наставницы?

Интересуясь школами, я пользовалась всяким случаем побывать в них, где можно. Однажды я попала

на урок закона божия. Мальчик рассказывал,—нет! монотонно тянул слово за слово историю грехопадения в таком роде: „Был рай; в раю был сад; в саду было дерево; на дереве было яблоко“ и так далее. В другой раз, по моей просьбе, ученик должен был сказать заученную наизусть басню Крылова. Он бормотал ее, глотая слова, так же нечленораздельно, как в сельских храмах дьячки бормочут: „господи, помилуй“. А когда я предложила послушать чтение школьников вслух, то услышала ту же какофонию без малейшего внимания к знакам препинания, о которых, повидимому, учительница никогда в школе не говорила. Столь же плохо читали и те 12 подростков, которые, освоившись со мной в Христофоровке, забегали в усадьбу за книгами: кроме двух, все они проглатывали окончания слов или искажали их. Вероятно, они плохо писали, потому что и учительница в маленькой записке, написанной при мне, сделала 2—3 грубейших ошибки. И как было ученикам читать вразумительно, когда и сами учительницы, встречавшиеся мне, читали отвратительно. Местную крестьянку, кандидатку на место в земской школе, я попросила однажды почитать мне газету—и не обрадовалась: слушать ее было мучительно, потому что она ставила знаки препинания самым фантастическим, неожиданным образом; слушая ее, я как-будто получала толчки в голову, и не знала, под каким бы предлогом прекратить это чтение.

Незнакомая до тех пор с постановкой школьного дела, я никак не думала, что школа может быть обезображена до такой степени, а учительницы низведены до такого низкого уровня, на каком я нашла их.

Однажды осенью в дурную погоду, вечером, в усадьбу Куприяновых попросилась ночевать приезжая церковно-приходская учительница. Я поспешила оказать гостеприимство. Эта девушка год назад кончила курс в особенном рассаднике учительского персонала, заведенном духовенством в с. Сумароково. Плата за учение и содержание пансионерок равнялось в этом заведении 3 р. в месяц, но давали ли там знания на эту сумму, я сомневаюсь. На все мои вопросы и заме-

чания девушка отвечала односложно: „Да с“; „нет-с“. Я старалась расшевелить ее и внушить, что ей самой надо учиться и учиться. Дав десятка три детских книжек для школы, я советовала ей в складчину с другими земскими служащими выписать газету „Сын Отечества“, стоившую 3 р., и какой-нибудь недорогой журнал, напр. „Образование“. Я от души хохотала, когда потом в Нижнем-Новгороде я получила от нее письмо, в котором вместе с благодарностью за советы учительница сообщала, что эти „советы не пропали даром“: складчина состоялась, и журнал, выписанный сообща, называется „Дятел“. . . Это был юмористический листок, каких было много в то время. Цензура вскоре закрыла его, и вместо „Дятла“ стал выходить „Клюв“, только и оставшийся от птицы после гонения цензурного ведомства, как уверяла карикатура, помещенная на обложке.

Земской учительнице, посетившей Куприяновых, особе очень развитой, как мне рекомендовали, я дала целую библиотеку отличной литературы того времени, названий 200, если не больше, по беллетристике, истории и общественным вопросам; дала с тем, чтоб за отсутствием библиотеки грамотные крестьяне могли пользоваться этим книжным богатством. Прошло месяца три; я попросила вернуть книги. Они пришли и носили такие явные признаки пуховой подушки, в которой были спрятаны, что мне стыдно было спросить поборницу просвещения, давала ли она кому-нибудь эти книги.

Летом 1905 г. в Москве происходил съезд земских деятелей. Тетюшский помещик и казанский мировой судья В. П. Куприянов, мой кузен, участвовал на этом съезде. Желая познакомить население с вопросами, обсуждавшимися на съезде, он предложил земской управе созвать для этого некоторое количество крестьян уезда, усилив ими экономический совет из 5—6 членов, который существовал при управе. Этому собранию Куприянов хотел сделать доклад о происходившем на съезде и предложить собравшимся обсудить нужды населения. Время было такое, что нельзя было не пони-

мать, как важно накануне изменения государственного строя пробудить сознание в массах и приобщить их к новым идеям. Предложение было принято; решено разослать во все волости повестки (с приглашением в земскую управу) таким крестьянам, которые, вернувшись домой, могли бы толково передать другим содержание бесед.

Поговорив с кузеном, я обратилась к уже упомянутой земской учительнице, 29 лет учительствовавшей в большом селе. Каково же было мое изумление, когда на просьбу указать из ее бывших учеников лицо, наиболее подходящее для приглашения на собрание, она ответила, что таких лиц не знает и указать никого не может. Возмущенная, я стала стыдить и упрекать ее: что же она делала в течение 29 лет учительства, если не подготовила ни одного десятка развитых крестьян? Какова же после этого миссия учителя в деревне? И кто же, кроме учителя, может быть проводником просвещения и культуры в массу населения?. . . Сконфуженная учительница задумалась и в конце концов выжала из своей памяти несколько имен, нужных нам.

Итак, она 29 лет обучала детей грамоте, год за годом от такого-то до такого-то часа занимаясь в школе, и выпускала полуграмотных ребят в жизнь, не делая решительно ничего для дальнейшего развития их ума и поддержания в них стремления к знанию и развитию. Общественная и государственная жизнь не касалась ее и шла где-то в неизмеримой дали мимо нее.

Жаль было детей, порученных этим руководительницам, жаль и жалких учительниц, столь бедных духом, что они ничего не могли или не смели дать населению.

Это население умственно спало: у него не было стремления к знанию, сознания необходимости его.

Напрасно было куплено много книг для взрослых при устройстве Никифоровской библиотеки: в ней было в 1905 г. всего 65 читающих, и ими были почти исключительно школьники, если не считать десятка лиц из причта и помещичьей конторы.

Напрасно выписывались газеты для читальни: никто не посещал ее, как я убедилась, частенько заглядывая в нее.

Когда наша семья пригласила в Никифорово особую учительницу для вечерних классов, охотников посещать их нашлось всего двое. Видя равнодушие крестьян, эти классы мы закрыли.

Молодежь 15—16 лет, обращаясь ко мне за книгами, просила „рóманов", как они произносили это слово; а взрослые крестьяне, называвшие себя „сознательными", на предложение брать у меня книги, отвечали „Мы все знаем"; кроме того, как видно, что учиться надо до конца жизни.

ГЛАВА X.

Впечатления и факты.

Общее впечатление, полученное от деревни, в которую я попала, было таково, что она осталась по отношению к уровню культуры в том же положении, в каком она была в Саратовской губернии в 1878 году, когда с сестрой Евгенией я жила там с идейной целью. В ней не была совершена самая элементарная подготовительная работа: не существовало контингента хотя бы вполне грамотных людей, т.-е. таких, которые ясно понимали бы читаемое и могли бы вразумительно читать вслух другим. Деревня представлялась косной, равнодушной и неподвижной, между тем, как в центрах события сменялись быстрой чередой: происходила всеобщая забастовка, объявлялся манифест 17 октября, происходили демонстрации. Но деревня была далека от политики: она не получала и не читала газет и за отсутствием их о манифесте и слыхом не слыхала. В городах все было в движении; даже мертвая Казань расцветилась флагами, оживилась радостными манифестациями при вести о свободе; в ответ — встали черносотенцы, произвели уличные избиения и убийства среди мирного населения, которое не оставалось в состоянии пассивности и ликованием встретило октябрьский манифест. Слухи о внутренней междоусобице из Казани все же доносились народной молвой в глубь уезда, но смутные, преувеличенные, йскаженные, и порождали в деревне смуту по поводу всего совершающегося. Здесь не понимали: за что, зачем и почему? Недоумевали, в чем дело; не знали, как отне-

стись к совершающимся фактам, во имя чего они совершаются.

Деревня недоумевала, не понимала; она не знала и оставалась неподвижной перед лицом того, что носило характер политический. Но картина изменилась, когда со стороны правительства последовали указы в пользу малоземельных и беземельных крестьян; ими изобиловал и наш уезд. Эти указы, как известно, открывали крестьянам возможность приобретать землю при посредстве крестьянского банка на условиях ссуды до 95% покупной цены; для безземельных даже совсем без приплаты (указ 3 ноября 1905 г.).

Гонимая земельным голодом, деревня тотчас пришла в движение: началась лихорадочная погоня за землей, ее цена быстро пошла в гору, достигнув 150 р. за десятину, что было непомерно высоко для нашего уезда. Это движение не было ни идейным, ни революционным. Оно не имело ничего общего с стремлениями левых партий: в нем не было ни малейшего намека на социализацию или национализацию земли, никакого сознания единства интересов всего малоземельного крестьянства. Напротив, в нем определенно сказывался дух индивидуализма в смысле особности и даже антагонизма интересов каждого селения по отношению к другим в округе. Облюбовывая *для себя* землю помещика *при своем селе*, относительно возможных претендентов на ту же землю со стороны соседних деревень крестьяне говорили: „Пусть попробуют, пусть придут—мы их в колья примем".

Тут как будто слышался отклик времен крепостного права, когда при освобождении крестьяне считали, что вся земля помещика должна отойти к ним. Теперь *недоданная тогда* земля должна была вернуться к ним и не могла достаться никому, кроме них. Сказывалось и понятие о трудовом начале: в данной деревне, отцы и деды во время крепостного права, а потом они сами уже по вольному найму возделывали эту частновладельческую землю, вкладывая в нее свой труд. Какое же право на нее мог иметь тот, кто не работал над ней? Мысль была только о себе, о своей

общине, без всякого помысла о какой-либо уравнительности, о распределении земли между селениями волости, уезда, губернии и всего государства. Оно и понятно: откуда бы идее обобществления, огосударствования земли попасть в некультурную, неграмотную массу населения глухой губернии?

Движение не было революционным: оно не выходило из рамок стремления приобрести землю легально, через банк. Кругом я слышала: „Мы хотим мирно, мы хотим безобидно"... „Мы хотим добром, а не силой"... Кто нам продаст землю—век будем за того богу молиться".

Итак, к помещикам пошли депутации с просьбой продать землю. К тем, кто отсутствовал, отправились ходоки с теми же просьбами. И мирный натиск крестьян, подкрепляемый угрожающим настроением и крестьянскими беспорядками в других местностях, был так единодушен, так общ, что волей-неволей помещики уступали желаниям крестьян и продавали, если не всю, то часть своей земли: в руки крестьян ее перешло тогда не мало. В душе, крестьяне надеялись, что раз банк даст ссуду, притом полностью, так как приплат они решительно делать не могут, их дело будет сделано: неплатежи банк будет из года в год рассрочивать, и земля ни при каких условиях не выйдет из их рук [1]).

Когда в порядок дня стал вопрос о созыве Государственной Думы, и в разговорах крестьянам указывали, что Дума займется земельным вопросом, и может произойти наделение землей с выкупом общегосударственным, крестьяне высказывали уверенность, что в таком случае их сделки с банком будут кассированы и по льготности уравнены с тем, что Думой будет сделано в пользу крестьян. Теперь—лучше синица в руках, чем журавль в небе, и они шли к помещику и обращались в Крестьянский банк.

Вообще же к учреждению Государственной Думы крестьяне относились равнодушно, скептически или

[1]) Лет через 10—12 пришло разочарование: земля, за которую по случаю неурожайных годов крестьяне платежей не вносили, стала Крестьянским банком отбираться.

отрицательно: „Жили без Думы и дальше без нее проживем". „Хорошего ждать нечего: та же канитель будет". „Те же пройдохи: старшины, волостные писаря да кулаки в депутаты пройдут". „Из этой затеи ничего не выйдет". И, как земство было для крестьян чем-то чуждым, далеким и неинтересным, такой же являлась и Дума.

Мысль, что собственными усилиями, своей деятельностью, участием в представительстве, земском и общегосударственном, надо добиваться улучшения жизни, и что для каждого обязательно чем-нибудь содействовать этому улучшению, совершенно отсутствовала в умах моих случайных собеседников. Если и произойдет в их положении какое-нибудь изменение к лучшему, то это случится не благодаря сотням и тысячам Христофоровок, Зубаревок, Назимовок, а придет откуда-то издалека, извне. Позднее, когда была созвана первая Дума, и пошли слухи, что она будет распущена: „Не посмеют сделать этого", сказал мне один крестьянин; „вся Россия поднимется!" говорил он. Россия! для него это была какая-то особая, могучая индивидуальность, где-то там вдалеке: не Христофоровка и Никифорово, не Васильевка и Назимовка, не совокупность всех Христофоровок, Марьевок и пр...

Кору равнодушия и инертности можно бы пробить: для этого нужна была широкая пропаганда. Несколько месяцев свободы собраний, свободы слова в деревне сделали бы чудеса, и выборы в Думу при свободе имели бы громадное воспитательное значение.

В зимнюю пору, в засыпанную снегом усадьбу ко мне приехала как бы депутация из трех крестьян. Закутанные в длиннополые тулупы с большими воротниками, рослые, широкоплечие, они казались настоящими богатырями. Просветленные бы головы на эти могучие тела!..

Они приехали за справками относительно земли моих трех сестер (в Никифорове). Я дала справку и постаралась задержать их для беседы. Вероятно, я была смешна в своей поспешности сказать им, как можно больше; случай был редкий, и эти младенцы в

политической жизни слушали так внимательно о том, что такое партии, программы, какие партии существуют на западе и у нас, каково отношение их к вопросу о земле, о прямых и косвенных налогах и т. д. Но когда в другой раз энергичному и изумительно быстро соображающему крестьянину соседней деревушки я дала несколько листков издания „Донской Речи", написанных так просто и ясно, он возвратил их, говоря: „Не могу понять. Я их и на сход носил; мужики сказали: может оно для городских и гоже, но нам неспособно".

Наугад я взяла сначала один, а потом другой листок. Они были: о всеобщем избирательном праве и о налогах. Я стала читать и объяснять каждую фразу. „Вот-вот: теперь я понимаю, все понимаю", с сияющим лицом восклицал крестьянин. Я проговорила с ним до хрипоты, останавливаясь на каждом пункте, приводя примеры и цифры. Собеседник не знал, как благодарить, и усердно просил заходить еще. А я боялась его компрометировать и ушла с тяжелым чувством, что не могу говорить сразу со всей деревней; не могу созвать сельского схода и должна ограничиться блистающими глазами одного слушателя.

И подумать только! Я числилась тогда ссыльнопоселенной, ко мне были приставлены два специальных стражника, и все-таки было такое время, что я *могла иметь одного* слушателя! Одиннадцать лет спустя, местная полиция установила надо мной такой шпионский надзор, что я не могла иметь даже *одного!* И не правдивы ли были слова одного крестьянина о „свободе". Зайдя к нему в избу, я увидела, что стена оклеена листами газеты, которую моя сестра выписала для него. В тексте мне бросилось в глаза слово „свобода". С укором я посмотрела на крестьянина и, указывая на столбец, сказала:

„Вот куда попала „свобода".

— Да она, почитай, только тут и осталась,—отозвался он.

Как ни глух наш уезд, и как ни полно отсутствие общественного и политического развития в населении,

стоящем на низкой ступени элементарной умственной культуры, все же некоторые новости, понятия и веяния из области вопросов, которые волновали более передовые местности России, невидимыми, незаметными путями проникали и в наши отсталые места. Так, по рассказу Дарвина, птицы с землей, приставшей к их лапкам, распространяют иногда семена, унося их в далекие страны.

Однажды ко мне за 20 верст пришел крестьянин лет 26: он хотел познакомиться со мной. Меня удивило—он слышал о Шлиссельбурге! и в качестве рекомендательного письма представил фотографическую карточку „деятелей освободительного движения". Он купил ее за пятачек в Казани. „Вот Желябов, сказал он, вот Перовская, вот вы", и стал расспрашивать о заключении в крепости. „Вот что выносили вы и ваши товарищи за свои убеждения", говорил он. „А мы-то! всего боимся; перед всяким урядником дрожим!" и рассказал историю одного маленького столкновения, бывшего в селе.

Крестьянин был довольно развитой и производил приятное впечатление. Хотя в селе нет библиотеки, но человек 50 „сознательных", по его словам, в селе найдется.

Приятная встреча была, однако, омрачена: при прощании гость попросил денег на корову.

Когда за границей я передала этот случай автору „Очерков русской истории"—Шишко, он возмутился. „Гнать бы его в шею!" воскликнул он.

Но я была другого мнения: я не могла допустить, чтобы весь разговор был подходом к корове. Крестьянин был правдив, говоря о своих взглядах и симпатиях. Он действительно *держался* их, но и *его держала* нужда: у него была девочка трех лет. „Купи, тятька, коровку, хоть маленькую — купи!"— говорила она.

На корову денег я не дала.

Встречи на базаре, на пароходе, в отхожем промысле, поездки в губернский город, где политический пульс бьется сильнее, случайно попавший в руки номер газеты—все это служит средством распространения идей. В одной демократической газете того времени, в статье о крестьянских наказах депутатам 1-й Государственной Думы, я даже читала, что наш Тетюшский уезд (наполовину татарский) был первым во всей империи по числу наказов. А в наказах, приведенных в газете, значились такие требования, как наделение крестьян землей, отмена косвенных налогов и введение подоходного прогрессивного налога; политическая амнистия, упразднение государственного совета, „тлеющего в роскошах", и т. д. Такие наказы, составлявшиеся по приговорам сельских обществ, конечно, не могли обойтись без обсуждения, и если не все члены общества, то хоть часть их, несомненно, сознательно выражала эти пожелания.

Наше родное село, Никифорово, тоже составило такой приговор, последствием которого был эпизод, характерный для крестьян, бывших инициаторами „наказа" нашего села.

Однажды один из них, чаще других посещавший меня, пришел взволнованный и рассказал, что приезжал становой и допрашивал его и товарищей, а также других крестьян и сельского старосту. „В чем дело?" спросила я.—Да мы послали в Думу петицию о том, чего мы желаем. „А именно?"—спросила я.—Мы требовали наделения землей, уничтожения государственного совета и земских начальников, политической амнистии, свободы слова, собраний и союзов. Вот, пристав и добивался от нас, кто составлял эту петицию? кто подписывал ее, и кто присутствовал на сходе? „Что же вы отвечали?"—спросила я, уверенная, что пристав подозревал, что инициатива исходила от меня.

— Мы ссылались на покойного помощника волостного писаря: умер он, так мы и валили на него. Насчет подписей больше говорили так: „другие подписали и я подписал". А староста показал, что печать приложил потому, что думал—это приговор насчет дров.

— Мы опасаемся, Вера Николаевна, как бы нас, сознательных, не сослали. Непременно сошлют: пристав все к нам приставал, все допытывался, кто подучил нас. В случае чего—вы уж не оставьте нас: мы боимся, как бы семьи наши без хлеба не остались.

— Ах, господи, останется моя дочурка без образования, — сокрушался крестьянин, красный от волнения.

„А сколько лет вашей девочке"? спросила я после многократных уверений, что никакой ссылки им не предстоит, что за петиции в Государственную Думу никого не ссылают и т. д.

Все это мало успокаивало моего знакомого, как не успокаивали и обещания позаботиться в случае нужды о них самих и о детях. Что же касается возраста дочери, о которой мой проситель сокрушался, то я невольно рассмеялась, узнав, что ей всего два года.

Опасения насчет ссылки не оправдались—крестьян не тронули, а девочка, когда для этого наступило время, благополучно поступила в земскую школу. К сожалению, впоследствии я узнала, что отец, который, когда ей было два года, так пекся об ее „образовании", не дал ей окончить даже и этой школы и запретил ходить в нее, находя, что она там только балуется.

Меня интересовало, насколько осознаны и продуманы были требования, выставленные моими односельчанами, и при первом представившемся случае я стала расспрашивать в этом направлении плотника, работавшего у нас во дворе и принимавшего участие на том сходе, на котором обсуждались и подписывались эти требования. Я спросила:—А вы знаете, что такое амнистия? Он замялся и объяснить не мог, но, когда я сделала необходимое разъяснение, он подхватил:—да, да, это самое, мы этого хотим. То же недоумение, а потом одобрение произошло и при вопросе о государственном совете.

— Как же вы надумали составить и послать в Думу такие требования? Как вам пришла мысль об этом?—спрашивала я. Плотник посмотрел мне в глаза.

— А как же, Вера Николаевна! когда мы приезжали к вам в Христофоровку от нашего общества посоветоваться насчет земли ваших сестриц, разве не помните, вы рассказывали нам, что по всей России составляются такие приговоры и идут в Думу. И чем больше будет таких приговоров, тем больше пользы может быть для нас.

Разговор, действительно, в Христофоровке у меня с крестьянами был, и из трех депутатов сельского общества одним оказался как раз этот плотник. Сразу я не узнала его потому, что приезжавшие в Христофоровку зимой, оставались в тулупах с высокими воротниками.

Ответ плотника обрадовал меня: не говоря уже о том, что крестьяне догадались не называть меня, его ответ показывал, что я говорила не так плохо, как я думала, беседуя с ними.

История по поводу петиции затихла. Быть может, полиция и затеяла ее только в надежде уловить меня. Волнение трех сознательных, предложивших сходу обратиться в Думу, улеглось. Для них, людей в политическом отношении совершенно неопытных, это было первое крещение; неудивительно, что они были основательно перепуганы. Но велико было мое удивление и даже беспокойство, когда дней через 6 тот же посетитель загадочно объявил мне: „Теперь, Вера Николаевна, я буду действовать иным способом".—Каким же?—поинтересовалась я. „Не могу сказать вам, только действовать буду уж по иному".

Как я ни билась, желая вырвать секрет, каким таинственным, новым путем мой сознательный хочет действовать, он решительно отклонил все мои подходы, и его речь, и явно смятенное душевное состояние возбудили во мне нелестную для него тревогу. Что с этим человеком?—думала я. Уж не замыслил ли он перекинуться во вражий лагерь?

Вскоре он прочел мою речь на суде; она переполнила его энтузиазмом и как будто рассеяла смятение в его душе; с блистающими глазами он пожимал мои руки; но недоумение насчет „нового пути" так и осталось без разъяснения.

Девять лет прошло, прежде чем опять в Никифоровке я встретилась с этим человеком. Опять он пришел ко мне и ошеломил новой неожиданностью.

„Побродил я по свету за эти годы,—рассказывал он; повидал свет и много всякого народа видел, вдоволь на все насмотрелся и теперь решил: буду *сверхчеловеком*. Буду локтями себе путь прокладывать—нечего жалеть мерзавцев, не стоит жалеть их. Еще не так их надо... Эх, Вера Николаевна! И зачем вы за этих скотов свою жизнь загубили?!" и т. д. говорил по новому мой старый знакомец.

— Что это? Откуда у вас такие мысли? и как вам взбрело в голову желанье стать сверхчеловеком?!— говорила я.

„Попал мое в руки один роман, и в нем был сверхчеловек, а названия не помню"... услышала я ответ.

Чем выразилось в жизни этого крестьянина его понимание сверхчеловека, я не знаю, но именно тогда я впервые услышала, что он дурно обращается со старухой матерью, взял из школы свою дочь и взвалил на двенадцатилетнюю слабенькую девочку всю тяжесть домашних работ.

Это было после моего возвращения из-за границы в 1915 г., а после революции, когда стали действовать земельные комитеты, а потом произошла национализация земли, рассказывали, что этот новоявленный сверхчеловек стал играть в деревне видную роль и занял в Никифорове первое место.

Около Христофоровки в узком районе моих наблюдений было тихо. Но с разных концов уезда нет-нет да приходило смущающее известие, которое шло, как мелкая рябь, от где-то в воду брошенного камня.

Рассказывали, что на границе Тетюшского и Буинского уездов в имении Теренина были „аграрные беспорядки": крестьяне держали своего помещика в блокаде, не пуская никого ни к нему, ни от него, и принудили в одном имении „простить" крупную порубку,

в другом—сдать крестьянам в аренду желанную им землю.

У купца Кривошеина крестьяне самовольно свезли к себе рожь с поля. Полиция советовала не противиться, а подать в суд: „он взыщет в лучшем виде".

В Барских Каратаях два крестьянина, арендовавшие 30 десятин земли, на которую метила вся крестьянская община, могли засеять их только под охраной полиции.

В Людоговку губернатор выслал роту солдат, потому что на вымороченное именье помещика Цельшерта, перешедшее к дворянству, крестьяне претендовали, как на свое наследие, и объявили, что они скорее умрут, чем отдадут землю. Представителя дворянства они заставили убраться по-добру по-здорову, отняли у него ключи, заколотили окна усадьбы, прекратили рубку леса...

В Тетюшах одно время царил страх и ужас, потому что местные рабочие грозили итти громить дома купцов, если на земляные работы по устройству спуска к Волге работа будет сдана не им, а вятичам. Конфликт был разрешен дипломатическим вмешательством исправника, который предложил разделить работу так, что внизу горы поставить местных рабочих, а наверху, где требовалась большая опытность, землекопов-вятичей.

Наконец, в тех же Тетюшах на хлебной пристани произошла *настоящая* стачка: грузчики забастовали, требуя увеличения платы. Купцы не соглашались, но тот же дипломат-исправник предложил им уступить, и купцы подчинились.

Эти и другие факты были сами по себе мелки, но среди вечно покорного и смиренного населения производили сенсацию и все же свидетельствовали, что призрак, о котором Леонид Андреев повествует в „Сашке Жигулеве", что он неслышными стопами ходил в те годы по земле русской и сеял смуту и тревогу, все же не миновал и наш забытый край, и хоть мимолетно, но промелькнул и в нашем уезде.

Контраст между деревней и городом выступил особенно резко во время октябрьской забастовки и последовавшего за ней манифеста о свободах. В деревне не было затишья от прекращения железнодорожных и почтовых сообщений; не произошло застоя во всех делах. Железная дорога не пересекает уезда, а почтой деревня пользовалась в то время в совершенно незаметной мере—таким образом, никаких перемен в сношениях с внешним миром не произошло. Суд, банки, высшие и средние учебные заведения, из которых на улицы высыпала и прибавила шума учащаяся молодежь,—все это не в деревне, а в городах. Скопления развитых волнующихся рабочих в деревне нет: нет толпы—нервной, наэлектризованной слухами, опасениями, к чему-то готовой, к чему-то готовящейся; нет сходок, собраний и совещаний, где все, от мала до велика, от чиновников вплоть до институток, спешат выявить свои неудовольствия, нужды и требования: здесь — разъединенные людские атомы, не затронутые идейными влияниями и страстными исканиями.

А потом при разрешении кризиса—в городах общий вздох облегчения, крик радости. „Да здравствует свобода!“ раздается на улицах. „Да здравствует свобода!“ провозглашают столбцы газет. И люди взволнованы, чувствуют подъем, не могут усидеть дома и спешат, бегут к друзьям, к знакомым, на улицу, чтобы поделиться радостью и пожать руку, хотя бы незнакомому.

А в деревне—тихо и безлюдно. Тихо *до* забастовки, тихо *во время* ее, тихо и *после*.

Сестре, приехавшей ко мне из Нижнего и принесшей вести об ярких впечатлениях „дней свободы“, и во сне грезились сцены, похожие на то, что происходило в Париже во время великой французской революции: толпы народа, при ярком солнце заливающие площадь; сотни и тысячи мужчин и женщин, коленопреклоненных и воспевающих „Свободу“...

А я—в деревне, что могла видеть я во сне?

Когда я сообщила свои впечатления Е. К. Брешков-

ской [1]), неожиданно посетившей меня, она сказала, обращаясь к сестре: „Увезите Верочку. Увезите скорей: она возненавидела деревню".

Но я не возненавидела. После долгого отчуждения я всматривалась в окружающую действительность и видела, что нет *одной* России, а есть множество Россий, разнообразных, разноречивых, ушедших вперед и отсталых, подвижных и косных, и что нужна колоссальная работа *нас всех*, чтоб совершилось равнение умов и единение настроений.

---

[1]) Брешковская, в то время нелегальная, приехала для пропаганды и провела 1—2 месяца в Тетюшском уезде в имении моей одноклассницы по Казанскому институту—Знаменской (урожд. Делярю) Екатерину Константиновну я видела тогда в первый раз, потому что, когда к началу 1876 г. я оставила Бернский университет и приехала в Россию, она была уже в тюрьме, а затем после осуждения по процессу 193-х отправлена в Сибирь. Но когда люди знают друг друга по наслышке, при встрече они уже друзья, и мы провели несколько часов в непрерывной интересной беседе, причем „бабушка" русской революции говорила о философском обосновании программы партии социалистов-революционеров, а я облегчала душу, рассказывая о тягостных переживаниях, испытанных в деревне.

ГЛАВА XI.

Переезд в Нижний.

В каком тяжелом настроении я была перед приездом в Христофоровку сестры Евгении, всего лучше показывает недоконченное и неотосланное случайно сохранившееся у меня письмо к М. Ю. Ашенбреннеру от 16/IX—05 г., выдержку из которого я приведу здесь.

„Мне здесь так не нравится, что я за это время много раз жалела, что допустила хлопотать о моем переводе. Еслиб не этот скверный холодный ветер в Нёноксе—это он угнал меня оттуда! Моя жизнь здесь страшная чепуха, п. ч. отвычка от обыкновенной житейской обстановки и житейских отношений вскрывается здесь [1]) самым острым образом, и, главное, я чувствую себя страшно одинокой; там не было так: там я могла сказать: „Придите!"—и хоть незнакомые или малознакомые друзья тотчас явились бы ко мне. Да они и шли ко мне без зова: все возвращавшиеся из ссылки искали меня и заходили, п. ч. через Нёноксу идет этап, и из Архангельска приезжали ко мне. Никогда в жизни не чувствовала я себя столь одинокой—разве, быть может, только перед арестом! А в Шлиссельбурге и говорить нечего! Разве было там одиночество, когда внизу были Новорусский и Лукашевич, сбоку Морозов, Антонов... А затем, я теперь потеряла назначение в жизни. Когда мы жили и после, когда были в тюрьме—у меня было назначение

[1]) Осенью Христофоровка и Никифорово опустели—все родные разъехались в свои постоянные места жительства, и я осталась одна-одинешенька.

в жизни, а теперь я потеряла его. И мне кажется так ужасно, так ужасно жить без этого! В первые месяцы я так часто слышала возгласы, что мне выпало счастье выйти из тюрьмы в период общественного пробуждения, и действительно, личные впечатления вполне подтверждали это пробужденье. Но надежды с тех пор порядочно поблекли, а пульс жизни здесь совсем не чувствуется. Да если бы и сбылось все, о чем мечтают все русские люди, желающие свободы, ожили ли бы мы? Право, не знаю, чем объяснить, но я чувствую себя во всех отношениях менее бодрой и душевно здоровой, чем была в Шлиссельбурге".

Манифест 17-го октября принес свободу моим старым товарищам по Шлиссельбургу: это сняло громадную тяжесть, обременявшую меня все время после освобождения из крепости. Моих друзей перевезли в Петропавловскую крепость, где на совместной прогулке они пережили неистовую радость от наступивших „свобод". Потом они рассеялись, кто куда, по родным семьям. А мне департамент сначала предложил заграничный паспорт, потом, раздумав, разрешил переехать из именья Куприяновых—Христофоровки в Никифорово, именье брата, или, если хочу, в Нижний, в семью моей сестры Евгении Сажиной. Я выбрала последнее. Надзор двух стражников с меня был снят, и я в первый раз после Шлиссельбурга могла ехать с сестрой без „провожатых".

Перед Рождеством мы выехали и по дороге заехали в Казань. Там я обратилась к специалисту по нервным болезням Даркшевичу: я не знала, сомневалась, смогу ли я выносить городскую жизнь, с ее шумом экипажей, людными улицами, обилием впечатлений? будет ли все это по силам моим расстроенным нервам? Профессор отнесся ко мне внимательно: я *должна* ехать в город; *должна приучаться к жизни*, а не бежать от нее. Но я *не должна вмешиваться в жизнь*, быть активной, но оставаться лишь наблюдателем, пассивно воспринимающим волнующие события. Только

при таких условиях лет через 5 я стану здоровым человеком.

„Также вы не должны писать", продолжал он. „Быть может, общество и потеряет от того, что вы не напишите теперь своих воспоминаний, но вы не должны этого делать"...

С этим напутствием, о котором волей-неволей я часто вспоминала и целесообразность которого на деле испытала, я отправилась из Казани в Нижний в сопровождении сестры.

Департамент полиции, снимая стражников, отдавал меня ей, на ее ответственность. И вот случилось, что по дороге в Нижний она *потеряла меня* и приехала в Нижний одна. Это случилось так: мы ехали по железной дороге, и этот способ передвижения с его регулярностью, росписаниями поездов и пр. был для меня тем же, чем бывает „чугунка" для захолустного провинциала, никогда не видевшего ее. На одной большой станции, не доезжая до Нижнего, я вышла одна на вокзал и прошла в дамскую комнату. Там молодая мать пеленала на столе хорошенького ребенка. Залюбовавшись им, я и не слыхала звонков и, когда вышла на платформу, поезда уже не было: он ушел, увозя испуганную моим отсутствием сестру и все оставленные мной в вагоне вещи.

Что было делать? дѐнег у меня в кармане было три рубля; следующий поезд шел только через сутки, до города оставалось 40 верст. Я была одета достаточно тепло для вагона, но недостаточно для путешествия на лошадях. Я все-таки решилась на это, хотя и побаивалась; начитавшись летом страшных повестей и рассказов Л. Андреева, я думала: не случится ли со мной что-нибудь ужасное, не убьют ли меня по дороге?

У вокзала стояло с десяток саней со спинками, запряженных в одну лошадь. Я предложила 3 рубля, чтобы меня довезли до Нижнего. Дюжина вощиков тотчас окружила меня, как добычу: всякий хотел получить ее. Стали бросать жребий, кому я достанусь: в шапку положили по монете. Эта своеобразная лот-

терея отдала меня в руки мальчугана лет 11—12. Увидав, кому я досталась, я запротестовала: я не поеду по неизвестной мне дороге с мальчишкой, который может заблудиться, не справиться с лошадью и т. п.

Стали разыгрывать меня во второй раз; тут мне повезло: жребий вынул славный крестьянин, сын сельского старосты.

Стояли морозы: дело было 4 января; ехать предстояло долго, а я даже муфту оставила в вагоне. „Нет ли у вас теплого одеяла", спросила я возницу.

— Как же, как же! Есть. Сейчас сбегаю. И он исчез, а я тем временем просила начальника станции в случае запроса по телефону со стороны уехавшей сестры дать успокоительные сведения.

Ямщик пришел; в его руках было одеяльце, в какие в деревне завертывают грудных младенцев: ситцевое—из треугольников, на вате. А я-то мечтала об овчине! Делать, однако, было нечего, я зарылась в сено, и мы поехали. Было часа 3 дня, солнце блестело, и блестели поля. Дорога сначала была ровная, потом пошли ухабы, чем дальше, тем хуже. Несколько раз меня выбросило из саней, пока я догадалась посадить ямщика с собой рядом и тем уплотнить содержимое саней.

Часов в 11 вечера, после поисков сначала улиц, а потом дома, меня вытащили из саней, и я попала в теплые объятия сестры, страшно боявшейся, что эта поездка мне дорого обойдется. Однако, все обошлось благополучно—я не до конца замерзла...

ГЛАВА XII.

В Нижнем.

В Нижнем я прожила три с половиной месяца.

Круг лиц, в который я попала по приезде, состоял из людей, „потерпевших кораблекрушение". Так называла я политических ссыльных, которые после многих лет были возвращены из Сибири. К ним принадлежали и Сажины, в семье которых я поселилась. Они, как и их знакомые, уже не участвовали в революционном движении бурного периода 1905—1906 гг., но работали в области культурно-просветительной и состояли членами Общества распространения народного образования в Нижегородской губернии. Центром деятельности этого Общества, одного из немногих уцелевших в предшествующие десятилетия, был большой Народный Дом, построенный на средства, доставленные главным образом предводителем дворянства Нейгардом и отчасти Ф. И. Шаляпиным и А. М. Горьким в тот период, когда одновременно с В. Г. Короленко и Н. Ф. Анненским А. М. жил в Нижнем.

М. П. Сажин был членом Правления Общества, а сестра Евгения одной из бесплатных работниц по библиотеке и книжному складу, которые имелись в Народном Доме. Эта библиотека и склад, который насчитывал, как мне говорили, до 35 небольших отделений, порученных учителям в разных уездах губернии, составляли самую существенную часть учреждений Общества, но главную роль Народный Дом сыграл в качестве помещения, в котором в осенний период 1905 года происходили непрерывные митинги.

Еще летом, за городом, в направлении за этим домом, собирались массовки, на которых выступали ораторы революционных партий, и со всех концов города ремесленники, торговцы, интеллигенция устремлялись послушать их словесные состязания. Не всегда дело кончалось при этом благополучно: так, однажды толпа черносотенцев напала на собравшуюся публику, а потом на улицах произвела избиение всех, кто казался неблагонадежным. Среди избитых и раненых были и убитые: известный в Нижнем владелец аптеки—Гейнце был буквально растерзан наемными грузчиками. Многочисленные митинги, порой насчитывавшие тысячи участников, собирались и в центре нижегородского населения—Сормове, где представители революционных партий вели горячую пропаганду и полемизировали между собой. После всеобщей забастовки и октябрьского манифеста движение получило еще больший размах, и в дни свободы городские улицы оживились народными шествиями с красными флагами и пением революционных песен, а Народный Дом стал центром агитации: с утра до ночи в Доме выступали неутомимые ораторы, и, по рассказам, в один месяц в нем перебывало не менее 120 тысяч посетителей. Но собрания устраивались не только в этом обычном месте, но всюду, где только была возможность к этому: в Коммерческом Собрании, в Общественном Клубе и т. д. На больших митингах председателем обыкновенно выбирался человек нейтральных взглядов, способный вести прения в определенном русле. Таким всего чаще являлся член партии народной свободы, присяжный поверенный Ещин, с которым потом познакомилась и я. Он старался сдерживать полемику партийных ораторов, смягчать резкие выходки оппонентов, горячо состязавшихся между собой, но особенным искусством отличался в тех случаях, когда социалистам приходилось уж общим фронтом выступать против черносотенцев. Последние организовали в Нижнем „союз Минина", имели свой орган и постоянное место сборищ в манеже. Иногда, со своими белыми знаменами и ораторами из мясников и лавочников, они являлись

в Народный Дом, и против них для завоевания темной массы революционные партии выставляли своих лучших ораторов. В этих случаях черносотенцы со своими белыми знаменами становились по правую, а социалисты, с красными знаменами, занимали место по левую руку председателя.

Случались при этом колоритные сцены: со стороны черной сотни, после нескольких выступлений красных, из толпы выступал какой-нибудь человек, просил слова и под гром аплодисментов заявлял, что белым он больше не товарищ, что лишь по несознательности был под белым знаменем и теперь покидает его навсегда. Угроза черной сотни, постоянно висевшая над народными собраниями и манифестациями, вызвала необходимость самообороны, и соц.-рев. организовали боевую дружину, вооруженную бомбами, которая охраняла митинги в Народном Доме и уличные демонстрации. Благодаря ее существованию, нападений на мирную толпу в этот период не было.

Однако, когда в январе 1906 г. я приехала в Нижний, Народный Дом по распоряжению местных властей был уже закрыт. В один из вечеров, когда в нем было собрание, казаки окружили здание, мгновенно электрическое освещение было прекращено; публика в панике бросилась к выходу и рассеялась в разные стороны, а в Доме вслед за тем начался разгром всего его имущества. Все, что можно было найти в буфете, было съедено и выпито, а посуда перебита; все шкафы с книгами и документами взломаны, книжное богатство библиотеки и склада свалено на пол, частью порвано и затоптано; бюсты и портреты лучших русских писателей, украшавшие помещение, разбиты, проколоты, изуродованы. Были ли подброшены какими-нибудь провокаторами две бомбы, найденные на столе в одной из комнат, или они были легкомысленно принесены кем-нибудь в такое ненадлежащее место — осталось невыясненным и послужило причиной того, что Дом, этот просветительный центр, был закрыт.

После этой катастрофы деятельность Общества совершенно замерла. Оно не было закрыто, но в течение

целых шести месяцев не обнаруживало никаких признаков жизни: Общие Собрания не созывались, никаких хлопот об открытии Дома правление не предпринимало: вероятно, члены были обескуражены и находили полезным некоторое время переждать, ничем не напоминая администрации о существовании Общества. Связь с уездными отделениями склада не поддерживалась, и за время бездействия Общества они затерялись, растаяли, так как одни из учителей были за это время уволены, другие переведены на новые места и по трудности сношений или по небрежности не дали знать ни о себе, ни о судьбе вверенных им книг, а списки, хранившиеся в центральном складе, при разгроме были уничтожены вместе с остальным имуществом.

Весной 1906 г. правление, однако, зашевелилось, и губернатор Фредерикс разрешил произвести в Доме ремонт, необходимый после казацкого набега. Внутри все помещение оказалось загаженным; от зимних морозов водопроводные трубы лопнули; мебель, замки исковерканы, оконные стекла в рамах разбиты, и пришлось делать большие затраты, чтоб привести все в порядок.

Когда, наконец, в первый раз после разгрома было созвано Общее Собрание, оно представляло довольно жалкое зрелище: из 300 членов на собрание, на котором присутствовала и я, пришло только 30 человек; они констатировали печальное состояние дел Общества: кроме долгов книжным фирмам, которые кредитовали Общество, никакого имущества в данный момент у него не оказывалось, и потребовалось несколько лет, чтоб Общество вновь встало на ноги и уже с изменившимся составом работников, на основании нового, утвержденного в 1912 году, более широкого устава, развило свою плодотворную деятельность.

Другим центром просветительной деятельности в Нижнем была так называемая секция гигиены: ее председатель, доктор Грацианов, судился в 1878 г. по процессу 193-х. Энергичный и неутомимый, он тоже отошел от революционной работы и отдался всецело

культурно-просветительному делу. С установившейся репутацией хорошего врача, пользуясь связями в обществе и отношениями с губернатором, Грацианов под флагом секции гигиены создал превосходное учреждение, которое можно бы назвать Народным Университетом. Публичные лекции, устроенные Грациановым, происходили в обширном зале купеческого клуба и имели слушателями почти исключительно демократический элемент. Билеты на лекции, ценой по пятачку, передавались в профессиональные союзы, которые создались в Нижнем в революционный период; лекторы приезжали из Москвы и были превосходны. Боровой, приват-доцент юридического факультета в Москве, прекрасный оратор, собиравший в университетской аудитории тысячную толпу студентов, приезжал в Нижний на субботу и воскресенье и читал лекции по рабочему вопросу. Слушать его прекрасные лекции было наслаждением даже для лиц, которым предмет был известен.

Профессор Московского университета Гернет прочел несколько лекций по уголовному праву—репрессия в настоящем и будущем, и был награжден шумными овациями своей многочисленной аудитории. Были и другие хорошие лекторы, привлекавшие слушателей из рабочего класса и торгово-промышленных служащих. Как в тех, так и в других живо сказывалась в то время великая потребность в знании.

После восстания 1905-го года Нижегородская тюрьма в 1906 г. заключала довольно большой контингент арестованных. Это были интеллигенты [1]), рабочие и крестьяне-аграрники.

Для помощи заключенным в Нижнем, как и в других городах, существовал нелегальный Красный Крест из представителей партий и частных лиц, сочувствующих делу помощи. В числе последних была и моя сестра Евгения, судившаяся в 1880 г. (по делу А. Квят-

[1]) Из деятелей, известных после революции 17—18 г.г., в тюрьме находились: Н. А. Семашко и Лежава.

ковского) и вернувшаяся из Сибири только в 1896 г. С ней на собрания Красного Креста ходила и я. Тут в первый раз мне пришлось наблюдать недоверие партийных людей друг к другу: социалисты-революционеры подозревали социал-демократов в несправедливом распределении денег между заключенными, обвиняя в пристрастии к партийным товарищам в ущерб идейным противникам. Обратно, социал-демократы подозревали социалистов-революционеров в отдельных сборах в пользу крестьян-аргарников, которых с.-р. постоянно считали обделенными.

Потом из Акатуя я получила письмо от Карповича. Между прочим, он просил денежной помощи каторжанам, и это послужило поводом к организации особой группы, которая должна была заботиться о товарищах, попавших в Сибирь. В эту группу при основании ее была приглашена и я. Рассчитывать на большие сборы в Нижнем, конечно, было нельзя, но группа вместо того, чтобы на первых порах взять на свое попечение только Акатуй, а при увеличении средств распространить помощь и на другие каторжные тюрьмы Сибири, составила обширную программу деятельности. Решили кроме каторжан помогать и ссыльно-поселенцам, и административно-ссыльным; произвести статистические обследования ссылки, собирать сведения о положении ссыльных и для того организовать анкету; заняться изданием материалов по ссылке и т. д. Мои доводы, что при широком размахе мы не достигнем и малого, не убедили собравшихся на учредительное собрание. Но, как и следовало ожидать, широковещательная программа осталась в области слов: группа действовала недолго и, как я узнала об этом впоследствии, когда покинула Нижний, не осуществила ни одной из своих обширных задач.

Гораздо более, чем люди, „потерпевшие кораблекрушение", и дело помощи ссыльным и заключенным, меня интересовало молодое поколение—революционные деятели текущего момента. По близости, идейной и

тактической, между „Народной Волей“ и партией социалистов-революционеров, к которым примкнули те землевольцы и народовольцы, которые не отошли от движения (Натансон с женой, Корба и др.), я оказалась в среде, тяготеющей именно к ней.

В то время в Нижнем существовал довольно многочисленный губернский Комитет с.-р. Его душой был энергичный и неутомимый Н. А. Ульянов. Его мать, близкий старинный друг А. И. Мороз, бывала у Сажиных, участвовала в О-ве распространения образования в Нижегородской губернии и в Красном Кресте, так что я скоро познакомилась как с нею, так и с Николаем Алексеевичем, и через него получала иногда приглашения на собрания с.-р. Так, однажды я была на собрании человек в 30; но вопрос шел о посылке делегатов на съезд (или конференцию с.-р.), и на собрании ничего интересного не было. В другой раз я присутствовала на собрании учителей с.-р. из ближайшего уезда. Но учителей всего было 4 или 5. Доклады о деятельности их были бледны и неравноценны. Это были скорее культурные *начинания*, и при том в таких же ничтожных размерах, как это было 25—30 лет тому назад. Так, один из учителей повествовал, что к нему приходят два—три крестьянина, и он читает им вслух легальные книжки. Слушая, можно было подумать, что с тех пор ни культурные потребности населения не расширились, ни рамки работы в деревне не раздвинулись. Наряду с этим бессодержательным докладом, молодая сельская учительница рассказала просто и увлекательно о своей деятельности. Канвой для ее работы служил манифест 17-го октября, содержание и значение которого ей приходилось объяснять крестьянам. Очень искренно она призналась, как была испугана, когда однажды крестьяне ее села потребовали ее на сход. В то время после манифеста волна погромов прокатилась по городам и селам; в селе, где была школа, велась также черносотенная агитация, и учительница могла ждать избиения. Однако оказалось, что крестьяне позвали ее, чтоб она растолковала им смысл манифеста и объяснила все, что надо, о новых правах

и свободах. Она с успехом исполнила это, и позднее крестьяне, сочувствовавшие ей, устроили в школе ночное дежурство на случай необходимой защиты.

Вопрос о кооперации был в ту пору боевым в деревне и находил энергичных пропагандистов. В той местности волостной старшина так увлекся идеей кооперации, что явился настоящим фанатиком ее, и задался целью объединить всю волость в одно потребительское общество.

Деятельность учительницы не укрылась от зорких глаз начальства, и оно для „пользы дела" перевело ее из большого села, в котором она была, в глухую деревню, где под бдительным надзором полиции условия для какой бы то ни было пропаганды были несравненно хуже.

Ульянов, отличавшийся большой предприимчивостью, основал с денежной помощью Грацианова небольшое местное книгоиздательство: „Сеятель". Оно выпустило по вопросам политического и экономического характера ряд листовок, которые носили заглавие: „Полезные сведения". Написанные популярным, ясным и простым языком, они действительно давали их. Были изданы и некоторые брошюры по животрепещущим вопросам того времени. Одна из них оказывалась настолько основательной, что ее можно было бы переиздать и после Февральской революции в 1917 г., когда земельный вопрос встал так остро. В ней заключалась богатая земельная статистика с множеством интересных и необходимых данных. Предполагалось издание других брошюр, для чего существовала особая литературная группа. В нее, кроме Ульянова, входили: неутомимый старик-толстовец Лев Павлович Никифоров, который жил в то время в Нижнем, молодой юрист Золотницкий, Коварский и я.

Из брошюр, изданных „Сеятелем", можно назвать: „Пролетариат и трудовое крестьянство" В. Чернова; „Аграрный вопрос" Золотницкого; „Наши университеты" Грацианова; „Весна народов" (перевод с французского); „Словарь для руководства при чтении книг и газет"; „Календарь для крестьян"; „Календарь для

рабочих". „За книжкой"—периодическое издание библиографического характера и др. Весной 1906 г. в Нижнем был основан книжный магазин „Новь", бойко торговавший главным образом брошюрами „Донской Речи", „Молодой России", Вятского товарищества и др., а после моего отъезда стала выходить газета „Народная Мысль", дававшая много сведений о движении в деревне. Она печатала многочисленные приговоры, выносившиеся сельскими и волостными сходами для отсылки в Государственную Думу, и информировала крестьян в том, что происходит в правительственных верхах и в Думе.

Во время выборов во 2-ю Государственную Думу Нижегородская организация принимала в них деятельное участие, и благодаря ее агитации в депутаты прошли: врач Долгополов и присяжный поверенный Фокеев.

Состояние моих нервов и предписание врачей не вмешиваться активно в жизнь заставляли меня сдерживать стремление мое к революционной молодежи и не давали возможности ближе познакомиться с деятельностью Нижегородского Комитета. Я слыхала о крестьянских братствах в деревнях, что особенно интересовало меня; знала, что в ноябре 1905 г. в Нижнем происходил первый в губернии крестьянский съезд, заседавший в Общественном клубе и принявший аграрную программу социалистов-революционеров. Летом 1906 г., когда меня в Нижнем уже не было, организовался 2-й съезд, собиравшийся в дачной местности: „Моховые горы". На нем присутствовала и Е. К. Брешковская, приезжавшая под видом богомольной старушки. Съезд был немногочислен, и по вопросу о скорой возможности восстания крестьяне высказались отрицательно. Позднее я узнала, что весной возникла судоходная организация и раскинулась по всему течению Волги. Затоны: Доскинский, Муромский, Сопчинский, Люлиховский посещались лекторами, снабжались литературой, устраивались митинги, на которых развивалась программа партии, и т. д.

Моя жизнь в Нижнем, как того требовало состояние моих нервов и предписание врача о том, чтоб

всячески щадить их, была в общем спокойная и однообразная. Ее украшала радость свиданий с товарищами по Шлиссельбургу и со старыми друзьями из Петербурга и Москвы. Один за другим ко мне приезжали Морозов, Лопатин, а потом Новорусский, Сергей Иванов.

Из друзей первая приехала Анна Павловна Корба[1]). В чертах ее лица, несмотря на все перемены за долгий период разлуки, я тотчас признала прежнюю милую Нюту, которую не видала с 1881 г., ту Нюту, которая всегда возбуждала во мне особую нежность своими идеалистическими взглядами на революционную деятельность, заставлявшими меня говорить, что мы все *действуем*, а Анюта *священнодействует*. Потом из Петербурга ко мне приехали Марк и Варя Натансон, с которыми я не видалась еще большее число лет. Варю—мою товарку по Цюрихскому университету—я видела в последний раз в 1877 г. в зале суда, когда она была на скамье подсудимых по процессу Бардиной и моей сестры Лидии. А с Марком, как членом О-ва „Земля и Воля", я рассталась, когда весной 77-го года он был арестован в Петербурге и затем выслан административно в Сибирь. В них тоже не было той физической перемены, которая так удручает после долгой разлуки. А в моральном отношении при встрече было отрадно найти в них людей, так же непоколебимо верящих в революционное дело и в народ, так же преданных интересам его, как они верили и любили этот народ в ранний период нашей общей революционной деятельности несколько десятилетий тому назад.

Этот последний приезд не остался без последствий: вероятно, полиция следила за ними еще в Петербурге, потому что в Москве, до которой они ехали вместе с А. И. Мороз, у нее был сделан обыск, а я после их приезда заметила у ворот дома появление чуйки с бросавшейся в глаза подозрительной физиономией. Когда Натансоны уехали, к нам явилась полиция и приступила к обычному делу, при чем охранник в тулупчике

---

[1]) Член Исполнительного Комитета партии Народной Воли.

был рьяным руководителем при забирании разных предметов, интересных для сыска. У меня взяли 1000 экземпляров листка: „Что такое социализм“—небольшая вещь, переведенная мной с английского издания О-ва Фабианцев. Забрали фотографии, переписку. В числе документов, лежавших у меня на столе, были очень неосторожные сообщения, которые могли сильно компрометировать как авторов, так и тех, о ком шла речь. Но попался какой-то необыкновенный пристав: в моей комнате, явно умышленно, он встал у коммода спиной ко мне, как-будто давая знать: прячьте, что у вас есть. Но я не решалась наполнять карманы массой записок и писем и в горестной нерешительности сидела пред выдвинутым ящиком, думая, что карманы все равно обыщут. Выручила сестра Женя; она подошла к столу и подставила свой фартук и карманы, знаком показывая, чтоб я складывала в них документы. Когда я сделала это, она вышла в другую, уже обысканную, комнату и сложила все в свой коммод. Так снята была с меня удручающая тяжесть.

После обыска сестре объявили, что по распоряжению из Петербурга она должна быть арестована, независимо от результатов обыска.

Ее увезли в тюрьму, которая была так переполнена, что не хватало коек, и, пока мы отвезли ей кровать, она спала с 2 другими заключенными поперек того ложа, которое имелось в камере. Туда же пришлось отправить стол и посуду—их тоже не доставало.

Чем был вызван этот неожиданный немотивированный арест, осталось неизвестно и непонятно. Никакого допроса сестре не делали и, как внезапно арестовали, так же неожиданно, дня через 3—4, выпустили из тюрьмы.

В апреле по нижегородским улицам зажурчали ручьи, солнце грело по весеннему: с „откоса“ можно было любоваться разливом Волги, зазвучали гудки пароходов. Я почувствовала неодолимую тягу на простор, в поля, где горизонт широк, и взгляд не упираается

о каменные и деревянные ящики домов. Хотелось видеть ширь небес и плыть по широкой поверхности волжского разлива. Я думала, что на отъезд в деревню, в именье брата, из которой в виде облегчения я была переведена в Нижний, не требуется особого разрешения: довольно известить губернатора, что я еду. Так я и сделала: опустив письмо к нему с извещением о моем отъезде, я села вместе с сестрой на пароход, чтоб отправиться через Тетюши в Никифорово.

Я ошиблась: в Казани полиция меня перехватила, явившись на квартиру родных, к которым я заехала.

ГЛАВА XIII.

С горстью золота среди нищих.

Прошло полтора года с тех пор, как я вышла из Шлиссельбурга и начала вторую жизнь свою, ту жизнь, над внутренним содержанием и смыслом которой я так мучительно и долго размышляла. Ведь со времени объявления мне, что каторга без срока заменена каторгой двадцатилетней, до действительного выхода из крепости должно было пройти полтора года... Было—когда подумать.

Наконец, 29 сентября 1904 г. срок истек, и я оставила „Остров Мертвых". Процесс возвращения к жизни начался...

Известен обычай в Индии, по которому вдова умершего всходит на костер, и ее сжигают. Но, чтоб умереть таким способом, надо приготовиться к смерти, надо проститься с жизнью, с миром... И она приготовилась, простилась; она примирилась со своею участью... Замерли чувства в ее душе, замолкли все звуки жизни в ней, и воцарился один покой... Вот она уже на костре; дрова дымятся... дым застилает взоры, и пламень вспыхивает здесь и там.

Но вмешивается полиция, и женщину, душа которой уже замирала, стаскивают с ложа мертвых и ее, уж приготовившуюся к смерти, уже душой умершую, заставляют жить...

Но если пролежать не часы, а годы... если уходить от жизни, глушить все отзвуки ее—не дни, недели, а целые десятилетия?...

И *так было*...

Трудно, мучительно трудно вернуться к жизни после долгой смерти. „Хорошо *умереть*,—тяжело *умирать*“,—сказал Некрасов.

Хорошо *воскреснуть*, сказала бы я, но трудно *воскресать*, чтобы *вполне* уже никогда, конечно, не воскреснуть...

Прошло после 29 сентября полтора года, а тяжелый длительный процесс все еще не кончился. В физическом и духовном организме все еще было смятение и хаос, были колебания и сомнения: *как жить? чем жить? зачем жить?*

И тут снова в мою внешнюю, видимую жизнь вмешалась полиция.

Нижегородская охранка оболгала меня, из департамента государственной полиции пришла бумага, прочитанная мне в Казани, что я ездила тайно в Петербург и Москву в целях агитации, и потому из Нижнего, где я жила в семье сестры, должна немедленно отправиться на место родины, в Тетюшский уезд Казанской губернии, в именье брата, Никифорово, и снова под надзором двух специально назначенных стражников *неотлучно* пребывать там.

Все это было выдумкой: и никуда-то я не ездила, и не для какой агитации у меня ни физических, ни духовных сил не было: мне в то время—только бы собрать мои собственные косточки, собрать внутреннюю храмину мою...

Прошло после 29 сентября полтора года, а эта храмина все еще лежала в развалинах. Я была одинокой, отрешенной от людей, от жизни, была чуждой всему и всем.

С тех пор, как я *жила в первый раз*, прошло около четверти столетия, и жизнь за это время не стояла на одном месте. Громадные материальные перемены произошли в стране; изменилась и духовная атмосфера. Народилось новое поколение и радостно, и смело ринулось на поле действия. Оно имело *новую* почву под ногами, и для деятельности—*новый* материал под руками.

Чувства и настроения этого поколения, нравы и отношения—были новые... Среди этих перемен я чув-

ствовала себя анахронизмом, чем-то вроде редкостной монеты. Она, эта монета, быть может, и полновесна; она, эта монета, быть может, и недурной чеканки, но теперь затеряна в груде новых, светленьких кружочков, только что отбитых рукой неустанного кузнеца-времени... И да здравствует новая жизнь, новые люди!...

Но я-то, я... Я—старинная рукопись, в которой запечатлены деяния прошлого; любопытствующие подходят к ней и с осторожностью берут двумя пальцами... они перебрасывают несколько страниц назад, глаза смотрят пристально, в них почтение... Ну да! Ведь это документ эпохи, отошедшей в даль...

Раньше, до этого, обстоятельства моей жизни постоянно складывались так, что я всегда принадлежала к какому-нибудь коллективу. Так было с детства: многочисленная семья, почти все—погодки... Воспитание в закрытом учебном заведении, где, кроме сверстниц-институток, можно сказать, и людей-то не было... В 19 лет—заграничный университет, жизнь тесной колонией учащейся молодежи, объединенной одними и теми же духовными интересами, одушевленной одним и тем же стремлением к полезной деятельности. Потом революционная среда, тайное общество, связанное строгим уставом: требование отдать себя, свои силы, имущество и жизнь безраздельно, и радостное растворение своей личности в коллективе с девизом: „За народ!“ „За свободу!“

Затем—Шлиссельбург. Здесь весь режим был направлен к распылению людей, к полной изоляции их от себе подобных, чтоб каждый чувствовал: „я—один“, „я—единственный!...“ Но самое долголетие заключения, полный разрыв со всем живым, сущим, привели к единению, к солидарности, и товарищество было; был молчаливый союз без устава, скованный тяжелыми железами тюрьмы.

Но теперь? теперь, когда меня выбросили за стену крепости, которая в течение 20 лет вытравляла в душе любовь к человечеству и к родине, любовь к родной семье и к семье товарищей—что было у меня

взамен хотя бы того крошечного союза, который выковала тирания тюрьмы?

Никакого единства не было... никакого коллектива, никакого союза, к которому доверчиво и любовно можно было прикрепить длинную паутинку своей жизни... И не было цели—доступной и определенной, высокой и твердой. Не было маяка, который стоял бы впереди, всегда перед глазами, и к которому не итти, а бежать бы надобно!... *Как жить? Чем жить? Зачем жить?*

Из жизни, жизни настоящей—я была выброшена давно. Ах, как давно—трудно и вспомнить! А из жизни призрачной, потусторонней, какая была в Шлиссельбурге, теперь тоже выброшена, и не по своей воле. Выброшена!... сначала отсюда, потом оттуда... Но человек не мячик, который, как ни брось, все отскакивает круглым... Цель-то... цель новой жизни—какая?

Даже в Шлиссельбурге, даже там была цель, было стремленье, был идеал. Пускай стремленье—на чужой взгляд фантастическое; но ведь я жила—в мире фантазий... Пускай цель и идеал на чужой взгляд нелепо аскетический... Но ведь я была анахоретом, жила аскетом...

Стремленье было в высоту, сообразно с местом, освященным страданиями многих поколений... Целью была гармония жизни, ее начала и конца, гармония смерти—с жизнью.

Теперь „в миру" все было разрушено: гармония исчезла, всякая определеннность исчезла... надо было создавать что-то; лучше сказать,—все заново строить...

Но определенной цели не было, определенных задач не было, *связи* с миром не было. „Овца без стада", сказал бы Успенский... Изолированный атом, выбрирующий в пространстве, скажу я.

Но я не могла жить так... таким одиноким атомом. Мне нужна была цель, нужны „препятствия в жизни", которые нужно бы преодолевать; нужна была связь с людьми, с родиной, с человечеством.

А где возможности? Как жить гармонически с прошлым? Как жить среди заново данных условий? Чем жить при наличных физических и духовных силах или

бессилии? Как и зачем жить, если хотение и осуществление не слиты воедино?

И среди этих настроений и нестроений полиция снова накладывала на меня свою руку. Она лишала меня той крошечной ячейки, где было тепло—семьи, хотя не мной организованной, хотя и отчужденной долгой разлукой, и отправляла в сугубое одиночество, в глухую деревню глухого уезда.

Еслиб и в самом деле я нарушила правила о неотлучке и ездила тайно в Петербург, я не могла бы роптать: по пословице—„что посеешь, то пожнешь". Но ехать в деревню, где в тот момент у меня не было ни души знакомых... ехать из-за лжи—это возмущало меня до исступления.

Однако, делать было нечего! Не повиноваться?—но тогда увезут силою; к несправедливости и жестокости присоединится унижение, которого и не перенесешь... Я уехала...

Был апрель в начале. Но какая весна в городе? Ее там почти и не заметишь! Теперь я попала в деревню, и здесь она была в полном блеске. Живя в прекрасной усадьбе брата, я выходила поутру на террасу, обвитую диким виноградом. Предо мной раскрывалась красота свободного неба; я вдыхала свежесть заброшенного сада; ловила лучи света и нежные оттенки весенних листьев. Я слушала их тихий шелест и возбужденное чириканье воробьев, обезумевших от счастья бытия, и это „счастье бытия" от солнца, от неба и воздуха охватывало меня. Какая благодать! Уединение, свежесть и красота! Все великолепно и все необычайно. Необычайна и великолепна была эта *первая* весна на просторе, весна настоящая, потому что, что за весна была в Архангельской губернии, куда я была отправлена после Шлиссельбурга,—весна скупая, серая! А здесь, среди угодьев деревенского раздолья! Свободно и тихо! Просторно и красиво!

Я приехала в деревню раздраженная и злая. Провожавшая меня сестра Евгения немало пострадала от

моей злости. Никогда с таким личным чувством озлобления не относилась я к департаменту государственной полиции и ее шефу П. Н. Дурново... А кругом была тишина, была благодать! Весеннее солнце ласково пригревало; земля, еще полная влаги, отдавала воздуху свои испарения, и этот прозрачный, чистый воздух убаюкивал чувства и нежил. Было невозможно злиться, когда кругом все благоухало и ликовало. „Мне жаль, писала я сестре дня через три, что я уж не могу бранить Дурново... Хотела бы бранить, но не могу!“

Да, ликовало все кругом... Но разве красота мира внешнего, созерцание красоты его может заполнить весь мир внутренний?! Мне было нечем жить, нечем наполнить гармонично мою *вторую* жизнь.

Наполнить эту вторую жизнь могла бы только широкая, благая деятельность. Но на пути ее стояли неодолимые препятствия, *внутренние и внешние*.

Всякая деятельность требует непременно общения с людьми. *Между тем тюремное заключение изуродовало меня*: оно сделало меня, по отношению к обществу людей, чувствительной мимозой, листья и ветви которой опускаются в бессилии после каждого прикосновения к ним [1]). Душа моя стремилась к людям, но вместе с тем я не могла переносить их. На мне всей тяжестью лежала привычка быть одной, привычка к одиночеству *физическому*. Мир, по временам, должен был быть для меня беззвучно тихим.

Это было неисправимо, неизгладимо. В последнее десятилетие тюремная изоляция уже не была полной. Но дело было сделано: присутствие людей уже тяготило, вызывало какое-то нервное трепетанье; потребность быть с людьми если не атрофировалась совсем, то упала до минимума. Мне и теперь трудно быть много с людьми: лишь в полной тишине я нахожу себя.

---

[1]) Моя сестра Ольга так и звала меня: „Мимоза“. И еще звала „принцессой на горошинке“.

С другой стороны—я находилась под бдительным надзором полиции. Между мной и людьми теперь всегда стоял стражник. Всякий шаг мой был известен; даже на прогулке полицейский шел следом. Всякий приходящий ко мне записывался в книгу живота. Я уже упоминала: после ссылки в Архангельск, когда меня перевели в первый раз на родину, никто из местной интеллигенции не посетил меня; ни один крестьянин не зашел побеседовать, а первое время, когда я проходила вечером по деревне, сельский староста демонстративно загонял детей с улицы в избы, чтоб я не заговорила, не приласкала ..

При таких условиях с кем, в какой мере и на какой почве я могла в деревне входить в общение? В чью жизнь, в какую сторону ее могла вмешиваться?

Вся область высших интересов, общественных и духовных, была закрыта для меня. Медицинская практика? Но в числе других прав я была лишена и права на нее; кроме того, ведь я страшно отстала, и усиленная работа была мне не по силам. Единственно доступной оставалась только материальная помощь нуждающимся—область, до тех пор мне совершенно незнакомая и чуждая.

Еще в Архангельской губернии, в посаде Нёнокса, чтобы в нужде получить небольшую помощь, ко мне обращались местные жители: старики, вдовы и сироты, побирающиеся по миру, а также проходившие этапом беспаспортные, высылаемые из столиц. Неизвестно, как возникшая легенда, будто я княгиня, подвергшаяся временной опале при дворе, много способствовала разным ходатайствам и просьбам. И я была рада помочь, кому можно. Да и стражники не препятствовали—раз дело шло о деньгах, хлебе и т. п.

Теперь, весной 1906 года, наше село и его округа нуждались в продовольствии, потому что предыдущий год был в Казанской губернии неурожайным. И, вот, редакция „Русского Богатства“ передала мне 800 рублей для помощи голодающим. Пироговское Общество врачей прислало несколько сот на помощь безлошадным, главным образом для солдат, вернувшихся с Дальнего Востока.

Так в руках моих оказалось золото, оказались деньги на благотворительность. И с этого момента, с момента, когда в деревне, убогой и полной всевозможных нужд, в руках моих оказалось золото — начались мои злоключения и беды: мои огорчения и неприятные сношения с деревней. Начались тяжелые впечатления и встречи, приносившие разочарованье и досадное сознание, что я делаю непоправимое, безобразное дело, которое лишит меня расположения деревни и отнимет у меня ее—отнимет ту любовь, которая до тех пор была у меня к ней.

С первых же шагов я наделала непозволительных ошибок... и весь смысл моего рассказа заключается в том, как мне *не следовало поступать* — потому что поступала я из рук вон плохо...

Мои непозволительные ошибки состояли в том, что я презрела все традиции прошлого, все благоразумные правила, которым следовала в давно прошедшие времена, когда селилась в деревне с целями пропаганды. Презрев их, я теперь делала все наоборот прежнему. Я поселилась теперь в *имении* брата, в *барской* усадьбе, окруженной зеленью сада и окаймленной вдали сараями и просторными амбарами, *наполненными зерном*. А там, в селении, стояли низкие, крытые соломой избы, где не было то коровы, то лошади, а то и хлеба. Я заняла ложное положение *барыни*, помещицы, одной из тех, чьи интересы с испокон веков противоположны интересам крестьянина-пахаря.

И это положение было притом вдвойне ложно, потому что это была одна видимость, а не сущность: вид барыни был—это было несомненно извне; но поместье-то было не мое, усадьба — не моя, амбары с хлебом — не мои... *Распоряжаться* всем этим я ведь не могла.

Я заняла вместе с тем положение благотворительницы:

„Приидите и дастся вам".

Но в каких размерах? Никто не знал, кроме меня самой, и знать не мог. Но всякий был склонен думать, что золотой песок неиссякаем, и каждый проситель

был уверен, что не пришел же конец ему, как раз тогда, когда *он* обратился с просьбой.

Я могла дать — этого было достаточно, чтобы возбудить все надежды, вскрыть все неудовлетворенные нужды, пробудить аппетиты.

Я могла не дать, но мотивы, как бы разумны и справедливы ни казались они мне самой, никогда не являлись обязательно такими же в глазах просителя. Напротив, они всегда казались произвольными и несправедливыми, Каждый отказ рождал обиду или по крайней мере горечь неудовольствия.

Таким образом в то время, как я хотела быть любимой, я оборачивалась к народу самой неблагоприятной для меня стороной... Я хотела делать доброе, хотела быть полезной, но на одного удовлетворенного создавала десяток недовольных и завидующих. А между тем удовлетворить всех, притти навстречу всем нуждам, конечно, не было возможности, да между требованиями часто бывали домогательства, никоим образом удовлетворению не подлежавшие. А все-таки это были шипы и шипики, которые вонзались в сердца обеих сторон, потому что, если было неприятно *получать отказ*, то неприятно и *отказывать*.

Да, я обращалась к народу неприятной для него стороной; но и деревня оборачивались ко мне самой худшей своей стороной. Я имела несчастье стоять, как богатый человек противостоит бедному; *но и народ* стоял передо мной, как неимущий стоит перед тем, у кого кошелек в руке; у меня просили и выпрашивали, просили и запрашивали... предо мной лгали, лицемерили и унижались. И, видя эту приниженность, видя унижение неимущего перед имущим, я познавала на себе гнусность положения того, у кого в руках золото, когда кругом — нищета... Я чувствовала гнусную власть золота над человеком, ищущим, жаждущим получить крупинку его, и мне казалось отвратительным, что я имею *власть, как дать, так и не дать*, и было тягостно и неприятно и *давать, и не давать*.

Я была новичком в деле филантропии. Только пустота и бесцельность жизни заставили меня взяться за нее. Прежде, когда с революционными целями, но мирными средствами я отправлялась с сестрой в деревню, в Саратовскую губернию, чтобы служить в земстве, у нас было решено в экономическом отношении стать с крестьянами более или менее на равную ногу и ни в каком случае не являться для них источником материальных выгод. Мы хорошо знали, что в этом заключается величайшая опасность, для нас, как людей привилегированного класса. Мы знали, как много лжи возникает в сношениях с крестьянином, если он видит пред собой человека богатого, „барина", на счет которого можно поживиться.

Мы не хотели корыстных отношений; мы желали, чтоб на нас смотрели, как на людей, полезных своими знаниями, своим образованием, а не карманом. Мы хотели, чтоб в нас видели людей *трудящихся*, но только в другой области, в сфере труда умственного, но не бар, которые покупают чужой труд и которых легко обойти, разжалобить и выжать ту или иную подачку. Чтоб установить простые, искренние отношения, мы устроили себе такой образ жизни, создали вокруг себя такую обстановку, которые мало отличали нас от окружающей деревенской бедноты. Нашим жилищем была изба, приобретенная земством для фельдшерского пункта, недавно выстроенная, а потому чистая, и лишь немногим более просторная, чем обыкновенная рядовая изба. Тщетно соседние помещики, наши друзья, Ермолаевы, приглашали нас поселиться неподалеку в их пустующей усадьбе; мы не согласились на это. Тщетно хотели Ермолаевы хотя бы меблировать наш домик,— мы отказались от всего, чтоб не отпугнуть от себя убогую деревню барским видом квартиры. Все должно было выглядеть у нас бедно и просто, чтоб не отдалить деревню и не шокировать крестьянский глаз. Наша стряпуха, простая деревенская женщина, не имевшая ни малейшего представления о „кулинарном искусстве", кормила нас, как говорится, чем бог послал. Достаточно сказать, что мы тратили на все

наши материальные нужды, на все—про все рублей 12—13 в месяц. Но за то никто не просил у нас ничего, кроме лекарств и приема детей в бесплатную школу, импровизованную в нашем жилище Евгенией. Живя тогда в деревне — как ни была она убога и бедна со своим „нищенским наделом"—мы не видали попрошайничества. Всего лишь раз была сделана попытка занять у нас денег, и так как она не оправдывалась обстоятельствами, мы с твердостью отказались дать. И надо сказать: наши отношения с крестьянами не были омрачены гадкой корыстью. Мы вынесли с сестрой из этого, почти годового, общения с деревней самые светлые воспоминания.

Трогательно было стремление крестьян к просвещению и к нам, как людям, в руках которых светильник знания. В трех волостях Петровского уезда, которыми я заведывала, как фельдшерица, не существовало в то время (78—79 г.г.) ни одной школы; в селе Вязьмине, в котором мы жили, было всего два-три человека грамотных. Но потребность в знании, понимание необходимости и важности школы были ярко выражены. После тяжелого трудового дня (приходящих больных в течение 10 месяцев было 5 тысяч), когда вечером мы заходили с книжкой в чью-нибудь избу, для хозяев это был праздник, на который быстро сходились соседи. Нас обогревало безыскусственное радушие, милое гостеприимство, и, кончив чтение, мы уходили с миром, чувствуя над собой словно теплое благословение. Особенной любовью пользовалась моя сестра Евгения, учившая детей читать и писать. „Наша золотая учительша" — было ее прозвище. И эти хорошие воспоминания я унесла в тюрьму и сохранила во все годы заточения в крепости.

Теперь, в 1906 году, после громадного промежутка времени, я снова стала лицом к лицу с деревней. Но какая была громадная разница в положении!...

Конечно, я не знала деревни, материальной подоплеки ее, не знала крестьянина в его материальных отношениях, не знала народа, как массы... Не знала всесторонне. Для этого было мало времени, прожитого

мной в деревне, и при обилии работы я имела слишком мало встреч. Самое положение наше в деревне, в Саратовской губернии, было исключительное, для крестьян новое. Оно определялось нашим интересом к *человеческой личности* крестьянина, и это ставило нас на известную высоту, а вместе с тем приподнимало и крестьянина, вводя его в сферу духовных и умственных интересов. Прозаические копейки и рубли не стояли между нами; мы не являлись покупателями труда крестьянина, а он не был продавцом своего единственного товара—рабочих рук. Это был праздник жизни: отношение обеих сторон было приподнятое, праздничное. „Новые люди приехали к нам"—так волостной писарь-взяточник формулировал с неудовольствием свои первые впечатления относительно нас. „Новые люди" внесли „новую", еще неиспытанную в заброшенном селе, форму отношений к деревне, внесли элемент духовный. Мы резко отмежевались от всех, деньги и власть имущих, отодвинулись от священника, который вымогал пятаки и гривенники за требы; стали в сторону от волостного писаря, который за все-про все брал те же пятаки и гривенники, и от барского двора крупного помещика[1]), где дешево покупался труд мужика. И деревня тотчас поняла нас, поняла мотивы нашей деятельности и определила их, как нельзя лучше: все, что мы делали для деревни, мы делали „для души". Так объясняли наше поведение крестьяне. И как мы стояли пред крестьянами в самой благоприятной для нас позиции, так и деревня стала к нам своей наилучшей, чистой стороной.

Невозможно отрицать, что вынесенные мной из деревни взгляды на крестьянство отличались сантиментальностью. Это был результат не только того особенного положения, о котором только что сказано, но и всего предшествовавшего развития моей личности, тех литературных, а потом революционных влияний, которые не на меня одну, а на целое поколение накладывали известную печать. Жизнь в деревне тогда не

---

[1]) Графа Нессельроде.

поколебала, а еще более утвердила воспринятое идеалистическое воззрение на народ, на крестьянство. Принеся в деревню розовую иллюзию, я и ушла с чувствами, в которых был элемент иллюзорный. Но эти иллюзии были мне дороги: они помогали мне жить и действовать, они одушевляли и поддерживали огонек теплого отношения к обездоленным...

Для характеристики моего, пожалуй, несколько смешного, наивного взгляда той эпохи приведу небольшую сцену из того времени, сцену между мной и несравненным бытописателем деревни Г. И. Успенским. Как-то осенью 80-го года, когда я уже оставила деревню, в „Отечественных Записках“ появился один из дышащих скорбной правдой рассказов его. Быть может, то была „Книжка чеков“ или „Из записной книжки“ — не помню точно. И вот, однажды, когда я была у Успенских, Глеб Иванович подошел ко мне и спрашивает: что я думаю о его рассказе? Я с горечью откровенно высказала свое мнение... Я говорила, что все, что он пишет, проникнуто пессимизмом и крайне удручает меня... Послушаешь его—так в деревне все плохо, все темно... Он живописует лишь одни отрицательные стороны народа, и тошно становится смотреть на это жалкое, забитое материальными интересами человеческое стадо, в котором, если живет „правда“, то лишь „правда зоологическая“, не прошедшая через горнило сознательности, и потому неустойчивая и разлетающаяся в прах при первом искушении, при первом изменении положения и осложнении окружающих первобытных форм жизни... Неужели в деревенской жизни, в душе крестьянина нет просвета? Нет ничего привлекательного, трогательно-симпатичного?! Зачем рисовать деревню такими красками, что никому в нее забраться не захочется, и всякий постарается стать от нее подальше!..

Глеб Иванович терпеливо слушал и все больше и больше морщил лоб. Наконец, приняв жалобный, прежалобный вид, он заговорил своим добродушно-ироническим тоном, обращаясь к присутствующим: „Вот, господа, обижается на меня Вера Николаевна за му-

жика моего! Не нравится ей мужик мой!... Она требует: подай ей мужика, но мужика шоколадного!..

Все рассмеялись, и я смеялась, потому что смешно было, было метко сказано... *всей* правды его слов, всей правды его иронии я тогда не *почувствовала*, и только теперь не могу не признать, что из моей деревенской жизни в Саратовской губернии я действительно вынесла образ мужика шоколадного, и шоколадным с тех пор он для меня и оставался...

С той же мыслью о шоколаде теперь, в 1906 году, я приехала в деревню. Приехала и стала делать все против прежнего наоборот. *Тогда* я сама выбирала для себя условия, сама избирала сферу деятельности, характер отношений к окружающей среде. *Теперь* я принимала положение, в которое меня ставила полиция и пожертвования добрых людей. Я была не господином над обстоятельствами, а подчинялась им и, не будучи в состоянии давать какое нибудь благо настоящее, стала пытаться давать благо видимое и фальшивое...

Я взяла горсть золота и с ним стала среди нищих... потому что только нищие и были кругом... Жалкое, грязное жилище, крытое соломой и окруженное вязким от навоза и грязи двором; вместо пищи — три раза в день чай с черным хлебом и солью; бледные, худосочные дети, нескладные фигуры взрослых... Нужда везде, во всем, и в массе никаких порываний к свету, к духовному простору. Школа, существующая около сорока лет, и наряду с этим множество безграмотных... Библиотека, очень порядочная, но среди взрослых почти не имеющая читателей... Повторительные курсы, устроенные на наши частные средства, но без желающих повторять и итти дальше. Таково было родное село, которому я должна была помогать ближайшим образом... Из контакта фиктивной барыни-помещицы с чужими благотворительными деньгами с одной стороны и убогой деревни с другой — могло выйти только безобразное. Оно и вышло.

В 1906 году высшая губернская администрация не признавала существования голода в Казанской губернии, и губернатор не разрешал устройства столовых, этой *единственно рациональной* формы помощи голодающему населению. Я говорю рациональной, потому что она наименее деморализирует: она исключает попрошайничество, и так как в общественной столовой всегда существует *общественное* мнение и общественный контроль, то автоматически, без всякого сыска, исключается возможность пользования помощью элементами не нуждающимися [1]). Раз столовые были запрещены, а нужда в хлебе до урожая несомненно существовала, отдел Пироговского Общества врачей в Казани применял раздачу нуждающимся зерна или муки. В нашем уезде этим заведывала Наталья Петровна Куприянова, моя двоюродная сестра, через руки которой в предыдущие неурожаи прошли для помощи голодающим десятки и сотни тысяч рублей, собранных в России, в Англии и Америке.

Обыкновенно она запасалась поименным списком жителей той или другой голодающей деревни, с записями о семейном и имущественном положении каждого двора. Затем по этому списку, с помощью нескольких приглашенных по ее выбору односельчан, составляла список нуждающихся в помощи, и те же приглашенные отпускали потом на местах зерно или муку. По совещании с Натальей Петровной относительно моей округи мы остановились на том, что и я, имея список всех крестьян села Никифорова, которому я, главным образом, должна была помогать, буду раздавать нуждающимся муку для взрослых и пшено для детей, проверяя действительность нужды опросом соседей и местных жителей вообще.

Что же касается денег на покупку лошадей, то, в виду незначительных средств и разных практических соображений, мы решили: во-1-х, не выдавать пособий

---

[1]) В этой форме — крупнейший недостаток тот, что она после голода оставляет деревню такою же, какой нашла. Еслиб вместо интеллигента, действующего сверху, работал выборный крестьянский комитет—в деревне остался бы опыт, навыки, полезные для нее.

в размере полной покупной цены, но лишь как прибавку к затрате самого хозяина, чтоб лошадь не приходилась таким образом ему совсем даром; во-2-х, выдавать пособие только тем безлошадным крестьянам, которые, вследствие *недавней* потери лошади (украденной, павшей или проданной по невозможности прокормить зимой), еще в состоянии при пособии поддержать хозяйство на прежнем уровне, и отказывать тем просителям, хозяйство которых уже безвозвратно запущено.

На основании этих правил я и стала действовать.

Нечего и говорить — народ валом повалил ко мне. Да разве и могло быть иначе?... Разнеслась кругом благая весть: в Никифорове *дают*; дают деньги, дают рожь, дают пшено, и, естественно, всякий захотел этой благодати. Каждый, кто *в чем-либо* нуждался,—а нуждались в сущности почти *все во всем*,—потянулся к барской усадьбе с ее садами, службами и аппетитными амбарами: и стар, и млад, мужики и бабы, вдовы и сироты, никифоровские и из соседних деревень. Сразу же я почувствовала натиск со всех сторон: с утра до вечера, каждый час, каждые полчаса кто-нибудь приходил, и я выслушивала до полного истощения сил жалобы на то, на се и просьбы о том, о сем и обо всем. Ни физически, ни нравственно я не могла переносить такого рода работы над оголенною нуждой. Я уставала... Я не могла *слушать* людей до бесконечности, мои нервы отказывались служить, а чувства—функционировать. У меня не хватало ни терпения, ни любви, ни времени входить в положение каждого, некогда было индивидуализировать случаи: я превращалась в машину—раздавательницу мелких подачек, и уже одна эта махинация приводила меня в отчаяние. И то, что эти подачки были из чужого кармана, лишало дело элемента любви, превращая меня в передаточный аппарат чужой сердобольности. Затем очень часто самый характер обращений о помощи действовал угнетающим образом.

Просьбы и нужды были самые разнообразные, нередко не имеющие ничего общего с задачей прокормле-

ния до урожая. Но все же каждого надо было принять, каждого выслушать, и в конце концов — отказать! Но как же тяжело отказывать!.. Одному откажешь, другому откажешь... Он недоволен тобой, а ты недоволен собой и тем, что проситель недоволен. Как будто возможно и быть довольным при таких условиях.

Было множество и таких претендентов, требования которых не могли по существу быть удовлетворены; и по весьма понятной причине эти-то случаи, оставлявшие после себя горький осадок, наиболее врезывались в память.

Приходит, например, один никифоровский крестьянин, высокий старик с седой бородой. Он принадлежал к зажиточным домохозяевам, а его сын служил старшим работником на барском дворе.

„Я к вашей милости".

— В чем дело?

„Да, видите, слыхал я, есть у вас деньги на лошадей, так пришел попросить у вас. Есть у меня, извольте видеть, два коня. Один больше ста рублев стоит, а другого-то больно охота променять. Да за промен приплату просят. Явите божескую милость — денег у меня нет: дайте на прибавочку!"

— Что вы, Иван Миронович! Деньги даны для безлошадных, а вы сами говорите, у вас два коня есть.

„Вера Николаевна! Матушка! Сделайте такое одолжение, больно уж нужда большая: никак без второго коня быть нельзя, а за промен 30 целковых просят. Уж выдайте пособие, пожалуйста".

— Не взыщите, я не могу дать.

„Ну сделайте милость... Как не можете?! Все можете... Войдите в положение, век за вас бога молить буду!"

— Уверяю вас, это невозможно. Деньги назначены на безлошадных. Отступить от этого я не имею права, и мы только попусту тратим время, говоря об этом.

И снова Иван Миронович просит, настаивает, повторяя одно и то же. И снова я отказываю и повторяю одно и то же.

Наконец, уж с раздражением, он спрашивает:

„Значит, так-таки не дадите"?..

— Так-таки не дам, не могу дать.

„Так попомните же вы меня!.."—грозит старик и в гневе хлопает дверью.

Через несколько дней он застает меня в избе, где я говорю с его сыном, и снова начинает тот же разговор о лошади, которую хочет променять с приплатой. Снова просит, настаивает, и опять я отвечаю отказом.

„Ну, дайте хоть в долг".

— Не могу: у меня нет для этого денег.

„Хоть десять целковых дайте".

— Не могу...

„Ну, хоть трешну",—патетически восклицает старик, и—бух мне в ноги...

Взволнованная, я повторяю: что вы? что вы! как не стыдно!

Но он ползает на коленях, повторяя те же мольбы.

Его сын, в котором больше чувства достоинства, хватает отца за шиворот и, стараясь поднять на ноги, шипит: „Если ты... у меня... еще раз... я тебя.."

Тут, не прощаясь, я устремляюсь к двери и исчезаю...

... Ранним утром через сад пробирается к балкону крестьянин из дальнего села и просит денег на постройку избы после пожара.

„Деньги, порученные мне, даны на хлеб для неимущих, и я не могу вам дать из них на избу", говорю я, выслушав обстоятельства дела.

— Ну так пудов 10 ржи дайте!

„Вы дальние, и вашу нужду я не знаю. Надо, чтоб кто нибудь удостоверил ее: учитель, священник или сельское общество. Кроме того, десяти пудов вам и тогда не выдадут. У нас выдают пуд—полтора на едока в месяц".

— Куда ж за удостоверением итти, а потом возвращаться. Нет, вы уж так поверьте... Ну пудика хоть три отпустите. Совсем у нас хлеба нет.

„Не могу сделать этого. Принесите удостоверение, тогда получите, как другие получают".

— Ну, так деньжонок от вашей милости хоть сколько-нибудь не будет ли? Рублей бы десять...

„Никаких денег для раздачи у меня нет; я не могу ничего вам дать".

— Как же так? Шел-шел, и вдруг ничего! Вы хоть трешницу пожертвуйте!

„Нет у меня и трешницы".

Стоит. Молчанье.

Потом просительно: „Ну, хоть двугривенный пожалуйте — пойти на дорогу хлеба купить".

Я иду за портмонэ и даю 20 коп. из своих.

Потом плывет молодуха, хорошо одетая, с ребенком на руках.

„Вы откуда?" — спрашиваю я.

— Я то? Здешняя... Карпа Федотова избу, чай, знаете? Еще круподерка у нашего двора: крупу дерем...

„Ладно! Что скажете"?

— Да вот пшенца для ребят попросить пришла. Люди идут, и я пришла.

„Ну что вы?! Идут бедные, неимущие... от нужды идут. А вам зачем просить? У вас свое есть — вы достаточные".

— Достаточные! Чтож из того? Людям даете и мне дайте!

— Поймите: я выдаю только тем, у кого хлеба нет, кому есть нечего. Деньги на пшено собраны в Петербурге добрыми людьми на помощь голодающим. Но вы не голодающие, и вам не следует просить. Я не могу вам дать.

— Бедные, небедные — все идут, все получают: должны и мне дать... У нас ребята тоже каши хотят.

„Хотят или не хотят — пшена я не дам, и вам стыдно у бедных кусок отнимать. Вам дать — им меньше останется. Пшена вы не получите".

— Как так, не получу? Как не дадите? Всем даете— и мне дайте!

„Но ведь это для бедных, говорю вам. Ведь это все равно, что милостыня нищему", говорю я, разгорячившись. „Неужели же вы, зажиточные, хотите руку протянуть Христа ради".

Густая краска покрывает лицо женщины и, круто поворачиваясь спиной, обиженная, она уходит.

А я остаюсь с неприятным, тяжелым чувством в душе.

... Вот парень, лет 25, кудрявый, разбитной. Должно быть видал виды: за словом в карман не полезет. Спорить с ним трудно, убедить невозможно. Он настойчив, упрям, и, во что бы то ни стало, хочет добиться своего. В обращении его чувствуется нахал. Он просит на лошадь.

Свое хозяйство он запустил давно: не пашет и не сеет. Не имеет ни сбруи, ни телеги, ни хотя бы малой толики денег на приобретение лошади. Промышляет он тем, что шьет на деревню, и для этого имеет швейную машинку.

Тщательно расспросив обо всем, я вижу, что дать денег на лошадь—это бросить их на ветер. Заниматься земледелием он не будет; для этого, кроме собственной охоты, была бы нужна довольно крупная сумма не только на лошадь, но и на необходимые орудия: купив лошадь без всякой приплаты с своей стороны, он просто-на-просто недели через две продал бы ее—и делу конец. Невозможно было удовлетворить его просьбу.

Но, как я ни доказываю, что при условиях, в которых он находится, я не могу дать ему денег на лошадь, как ни убеждаю, что покупка лошади сама по себе еще не поставит на ноги его заброшенного хозяйства, он не соглашается ни с какими доводами и твердит одно: „дайте!"

А когда я стараюсь растолковать, при каких условиях я вообще могу выдавать пособие безлошадным, он с негодованием возражает:

— Где же тут справедливость? У кого *ничего* нет, тому вы не даете, а тем, у кого все-ж таки есть кое-что, тем благодетельствуете. Чем бы помочь самому, что ни на есть, бедному, которому податься некуда, вы богатею помогаете!..

В этом была правда: безлошадный, у которого была телега, сбруя, было еще не разоренное хозяйство, безлошадный, у которого было маленькое сбережение на приобретение лошади, имел, по принятому мной решению, все права на пособие из моих рук, а тот, кто был уже на дне, должен был получить только отказ.

Мои политико-экономические соображения нисколько не удовлетворяли бойкого просителя, и внутренно, по человечеству, с точки зрения простой филантропии, я была согласна с ним. Действительно, какое ему дело до политической экономии, до общественной точки зрения? Он тонет или уже потонул... и судит не с точки зрения политико-экономa, а с точки зрения человека, который уже на дне и все-таки хочет жить, имеет право на жизнь.

В конце концов, совершенно измучив меня своей настойчивостью, парень уходит возмущенный, негодуя на людскую несправедливость вообще и на мою в частности.

И, как я ни утомлена и ни хотела бы посидеть одна в полном покое, из передней уже подвигается древняя старуха с посошком. Она вспоминает мою мать, вздыхает, поминая ее добром и вытирая концом головного платка старческие слезящиеся глаза... и, после многих блужданий вокруг да около, слезно просит денег на избенку. Она—лишняя в семье, которая ее приютила; пока у нее было что отдавать, за ней ухаживали, ее холили; потом—терпели, а теперь она слышит только попреки и ругань... „Хотела бы умереть, да бог не прибирает“... „Келью выстроить“—вот ее мечта, пока бог не смилуется. Спокойно дожить век после трудовой тусклой жизни—вот чего она желала бы...

Ничего не поделаешь! Я не могу „ублаготворить“ эту деревенскую бабусю, не могу дать ей „спокой“..

Я могу только отказать ей со всякими, более или менее сладкими, оговорками.—Ну, бог простит,—кончает она нашу беседу, оставляя меня в унынии.

Едва я ухожу в спальню и в изнеможении опускаюсь на кровать, как слышу под окном шорох, сначала робкий, а потом все сильнее. Через несколько минут куст под окном трещит, и лицо, на котором написано любопытство, заглядывает ко мне в комнату. Когда я спрашиваю: что такое, оказываются новые просители. Я подымаюсь и выхожу, кислая.

На этот раз это целая ватага баб, и у каждой своя докука: кому надо избу выстроить, кому избу крышей крыть, а у иной печь развалилась... Просят на корову, потому что без молока детям беда... Просят на телку, в ожидании, что в свое время она коровой станет. Кто просит на овцу: последнюю по осени продали... придет зима—без валенок дети останутся: ни клочка шерсти в доме нет... Всем нужно, нужно весьма существенное, необходимое... Но всем приходится говорить одно и то же: деньги даны на хлеб голодающим, а не на коров, не на телок, не на овец. Бабы недоумевают; они сомневаются: почему на хлеб деньги есть, а на телушку, на овцу—нет. Такие надежды были—и уйти с пустыми руками... Бабы удаляются, чувствуя себя, как старуха, обманутая золотой рыбкой в сказке.

К вечеру новый прилив посетителей: приходит уже сельский староста, волосатый мужчина, лет 45, неграмотный, и, не умея объяснить, какого рода недоимка числится за обществом—в земство-ли или в земельный банк—просит 25 рублей... Иначе становой приступит, дескать, к описи.

Сколько ни толкуем, не можем выбраться из какой-то путаницы, в которой разбираю только, что недоимка старая, и будто становой покрыл ее из своего кармана, а теперь настоятельно требует уплаты.

Я разъясняю, что уплата недоимок не входит в намерение жертвователей; что деньги собраны на хлеб насущный, чтоб люди не болели, не умирали с голоду.

Побившись в этом словопрении достаточно, я предлагаю такую комбинацию. Я слышала, что у управляю-

щего есть работа—вырыть канаву, чтоб осушить болотистое место между барским садом старой усадьбы и рядком деревенских изб. Не хотят ли крестьяне сделать эту работу? Это дало бы возможность уплатить недоимку и вместе с тем оздоровило бы деревню.

Ладно! Староста поговорит с „обчеством".

Но через несколько дней все это оказывается лишним: крестьяне не хотят канаву рыть. Почему? никто мне объяснить не может или скорее не хочет.

За старостой идет татарин. Жалкая старческая фигура, бледное лицо все в морщинках и почти без всякой растительности.

По русски говорит очень плохо, а понимает русскую речь, пожалуй, еще хуже. Он просит отпустить ему ржи или муки; говорит, что дома ни зерна не осталось; пришел из соседней татарской деревушки, верстах в двух от нас.

Я отвечаю, что сегодня же или много-много завтра пошлю кого-нибудь узнать о его семейном положении, и тогда мука будет тотчас же отпущена. Но это не удовлетворяет его. Он хочет получить теперь-же: он ждать не может, не может вернуться домой ни с чем.

Сколько я ни говорю ему, он стоит на своем, и, наконец, решительно заявляет, что с места не сойдет, пока не получит требуемого. Он садится на ступени балкона, на котором происходит разговор... Последний аргумент! Мне кажется, он даже ложится тут!.. Я скрываюсь в комнаты.

Я чувствую гнусность своего положения. Я поступаю отвратительно...

Этот распростертый старик... Конечно, он нуждается: он не имеет вида нахала, этот изможденный, моргающий глазами, выцветший старик. Где же во мне сострадание?.. На меня нашло упрямство: меня уже осаждали ложными претензиями... и я поставила себе за правило—проверять степень нужды каждого.

Правило, правило... ведь я сама себе навязала правило...

И эта жалкая упрямая фигура, распростертая на крыльце барской террасы... Гадость... И не хочется

уступить, чтоб не создавать репутации: „Хоть образованные, а придурковаты все".

... А все-таки, быть может, у него дети, и им есть нечего! Внезапно меня озаряет мысль: я зову девушку Машу и посылаю ее в кухню за печеным хлебом.

Я выношу его на балкон.

„На, возьми хлеб и ступай домой. Сегодня же приедет приказчик к вам, тогда приезжай за мукой".

Татарин, словно проснувшись, встает и, положив хлеб в холщевый мешок, бредет прочь из сада, такой же жалкий и беспомощный, каким вошел в него.

А на мне стыд остался, стыд до сих пор, что не поверила сразу, не сумела настоящую нужду отличить от попрошайничества.

Он, действительно, нуждался: приказчик удостоверил это...

Решительно—дело было не по мне. Помогать из своего кошелька, помогать, когда, сколько и на что хочешь—это одно. Это дело милосердия, сострадания и любви. Но взять чужие, общественные деньги, в которых надо дать отчет, считаться с волей давальцев... повесить вывеску: „Здесь дают"... „Просите и дастся вам"—это какая-то обязанность без внутреннего содержания, подчинение себя и чужих нужд выдуманным правилам, которые становятся ярмом, придают всем отношениям характер оффициальности, на самого себя нацепленной... И все это сопровождается справками, проверками—каким-то сыском... Нет! Я не могу выносить такого положения; не могу быть не самой собой, а лишь уполномоченным чужого добросердечия...

„Наташа! Возьми деньги. Возьми от меня эти деньги", просила я свою кузину, приехавшую из Казани. „Не могу я заниматься этим делом: я не умею; мне неприятно, мне тяжело"... упрашивала я ее.

— Ну вот, всегда так! Тяжело, неприятно, так вали на чужую шею!—отвечает она.—А мне, ты думаешь, приятно?

Аргумент попадает в цель. И в самом деле, если и ей неприятно, какое право имею я свою неприятность перекладывать на ее плечи?

„Ты права! Попробую потянуть еще"... вздыхаю я. И тяну... тяну...

... Наступило 9-е мая, Николин день, храмовой праздник в нашем селе. Весь день разливное веселье царит в Никифорове: слышится гармоника, песни; вся деревня высыпала на улицу; толпятся у ворот, ходят парами, сидят на завалинках; принарядившиеся бабы щелкают семечки, а ребятишки вертятся у всех под ногами.

Вечером разгул во всю: все пьяно; мужики горланят пьяные песни; отовсюду несутся пьяные выкрики...

На барском дворе, в старой усадьбе, где летом живут сестры, пусто: работники ушли ночевать к женам в соседнюю деревушку; старик-сторож от выпивки еле на ногах стоит; старший работник, так называемый староста, пьянствует где-то у родственников.

В новой усадьбе, усадьбе брата, в которой живу я, царствует полная тишина. В доме—только я, да деревенская девушка, исполняющая несвойственную ей роль горничной. В „людской"—только одни стряпухи: работники разошлись, кто куда, а управляющий или приказчик пьян—пьянешенек, пирует, должно быть, у кумовьев.

Уж половина 11-го, и я сижу, усталая, над книгой. Внезапно с высоты соседней колокольни раздается удар колокола... другой... третий... Все громче, лихорадочнее звучит набатный колокол среди весенней теплой ночи. Я спешу к окну и вижу на востоке, совсем близко, громадное пламя пожара.

Краска гнева заливает мое лицо, и почти с отчаянием я думаю: еще этого недоставало! Нищенствуют, голодают... просят и унижаются, а теперь перепились и спалили свою деревню... Что же будет *теперь* с ними?

Напрасно я стараюсь разбудить Машу. Она не внемлет моим словам, таким странным, таким необыч-

ным: „Вставай, вставай скорее, Маша! У нас пожар: горит Никифорово! Вставай. Огонь близко—мы сгорим!...“

Все тщетно: ее 16-летний деревенский сон непробуден...

... Наконец, мы обе на дворе. Меня изумляет спокойствие стряпух, которые стоят в бездействии подле забора, изредка обмениваясь отдельными замечаниями. Разве не надо выносить все из дома?.. Разве не надо выгнать скот в поле, чтоб не сгорели лошади и коровы?..

Я не могу ориентироваться: мне кажется, что горит ближайший к нам порядок изб, откуда слышен глухой гул толпы, и где высоко к небу взвиваются столбы пламени и дыма.

— Да что вы?!—возражает стряпуха.—Это не Никифорово горит... Горит ваша старая усадьба!..

— Вот оно что. Горит *старый дом*“! *Это лучше*, чем несчастная деревня... Только бы не она... только бы не она!..

И все звучит набат, посылая с высоты колокольни в ночной воздух новые и новые волны... И все новые языки огня и волнующиеся клубы дыма поднимаются за „*старыми ивами*“ нашего сада.

Эти ивы, этот сад, окружающие старую усадьбу со всеми ее службами, сберегут крестьянские избы, спасут деревню от конечного разорения... А там, за ними, среди весеннего засушья, горит сначала овчарня и в ней живьем гибнут овцы; горит конюшня, которую спьяна сторож не в силах отпереть, и в ней живьем сгорают лошади... Потом горят флигеля, сараи, и горит со всем своим добром „старый дом“ времен дедушки...

... Деревня не сгорит... деревня не погибнет, не пойдет по миру и место для личных чувств, для личной скорби—очищено... И больно, страшно больно в течение пяти часов смотреть, как гибнет эта колыбель нашей семьи. Там родились... там выросли... Потом ушли... ушли в широкий свет, на разные дороги... Но о нем, об этом старом доме, помнили... к нему стремились в мечте, в воспоминании...

Сколько раз в Шлиссельбурге рисовался мне этот родной угол—единственный на всей земле постоянный и неизменный!..

Рисовался—и я писала:

„Вот деревня... вот дом... к небесам
Поднимаются стройные ивы...
Вьется змейкой река по лугам,
А кругом расстилаются нивы.
Незатейлив пейзаж, и не раз
Я видала красивей картину!
Но привычный и любящий глаз
Все рисует *тот* дом, *ту* равнину.
Сколько лет я уж там не была!
Но знакомо там все, и все мило:
Там я детство свое провела,
Там училась, росла и шалила...
Этот дом уж давно опустел
И стоит молчалив, как гробница...
А когда-то он смехом звенел,
И мелькали в нем милые лица...
На каникулы шумной толпой
Мы в родное гнездо прилетали...
Шаловливой, веселой гурьбой
Мать с отцом, как венком, окружали...
Там я первую книжку прочла:
Мысль и чувство над ней пробудились...
Там-же, после, цель жизни нашла—
Идеалы в душе зародились...
В тех местах услыхала впервой
Я горячие речи признанья...
Там мне брат положил золотой
В башмачек пред обрядом венчанья...
Там добру и науке с сестрой
Свои силы отдать мы решились
И, судьбу вызывая на бой,
Над отцовской могилой склонились...
Мудрено-ли, что эти места
Сердцу дороги, в памяти живы...
И в душе не смолкает мечта
Умереть под шумок старой ивы... [1])

... И теперь огонь все пожрал, все уничтожил. Нет больше *„няниной“* комнаты, где воображение всегда рисовало образ Натальи Макарьевны, с ее милыми морщинами и небольшими голубыми глазами, которые так любо было целовать в детстве, теребя ручкой широкие складки старческой шеи... Нет „кабинета“ отца, с желтым стеклянным шкафом-библиотекой, откуда брались: „Антон Горемыка“ Григоровича и „Давид

[1]) Сборник стихотворений В. Н. Фигнер.

Копперфильд" Диккенса, над которыми пролито столько горьких ребячьих слез... Нет „залы" с висячей лампой и круглым столом, за которым в зимний вечер мать читала всем вслух своим мягким музыкальным голосом роман Некрасова и Панаевой из „Современника"... Нет балкона, на ступенях которого во время каникул сидели по вечерам все в сборе, отыскивая глазами первые загорающиеся созвездия, и спорили за места подле матери...

Все исчезло и сметено без возврата. На утро—дымящееся пепелище... обожженная земля—и более ничего!..

Поджог был очевиден: все кругом о нем говорили, а скоро сам поджигатель, под хмельком, стал открыто хвастать своим делом.

Это был акт мести, и я—я была виной гибели родного гнезда!..

В деревне был старик, пользовавшийся нелестной репутацией пьяницы и „охальника", как его величали бабы. Восемь лет, как он уже забросил землю: не пахал, не сеял, и служил пастухом. Оказывается, он приходил ко мне и просил на лошадь. Конечно, я отказала. И вот, в отместку, он спалил усадьбу, которой я не владела и в которой я не жила. Спалил в праздник, с полной безопасностью для себя, но с опасностью для всего села в 400—500 душ.

... И едва ли в какой-либо в другой стране возможно следующее: на старом пепелище на страховую премию брат выстроил для сестер новую усадьбу. Каково же было их изумление и тревога, когда летом на следующий год они увидели, что сторожем ее нанят тот же поджигатель. На вопрос, что это значит? толстый, красный приказчик, улыбаясь жирным лицом деревенского прасола, бойко отвечал: „Это—лучший способ обезопасить от огня"... Прогнать этого человека было уже невозможно—усадьба непременно сгорела бы... Судиться?.. Тащить в суд эту темную, бессознательную голову... Но для этого, помимо всего прочего, даже и свидетелей не нашлось бы. Деревня знала—деревня молчала бы.

После пожара, этого семейного несчастья, „сознательные“, как несколько человек крестьян сами называли себя, выразили мне свое „коллективное“ сочувствие и соболезнование о случившемся. Не утаю, этих „сознательных“ было мало: меньше, чем пальцев на руке. Я несколько раз по разным хозяйственным поводам встречалась с ними. Я интересовалась их личностью и степенью развития. Ведь это была новость для меня—заря будущего деревни. Они были грамотные, прочли несколько брошюр, тогда свободно обращавшихся. К их мнениям я прислушивалась.

Раз приходит один из них, взволнованный: он только что прочел газету.

„В чем дело?„

— Это возмутительно,—отвечает он.—Чего только не делают Дурново и Витте! Я так думаю, Вера Николаевна, их следует повесить!

„Разве вы стоите за смертную казнь?“—спокойно спрашиваю я.

— Нет! Я против смертной казни: ее необходимо отменить,—говорит крестьянин.

„Но если отменить, то можно ли казнить Витте и Дурново?! Раз вы стоите за отмену, невозможно казнить кого бы то ни было и за что бы то ни было,—иначе вы не противник смертной казни“...

— Нет, я—противник, но все-таки Дурново и Витте надо повесить.

И, как я ни билась, доказывая невозможность такой постановки: „Смертную казнь отменить, а Дурново повесить“—убедить „сознательного“ я не могла.

Тот же крестьянин на вопрос о преимуществах общинного или частного землевладения сказал:

— Конечно, мне было бы лучше иметь участок в полную собственность; на нем я был бы сам себе король!.. Только я знаю: если общину рушить, через десять лет пол села будут нищими: участки продадут. *Поэтому* я не хочу, и стою за общину.

При покупке земли у помещика через крестьянский банк он твердо стоял за покупку общиной, и его старания увенчались успехом.

Однако, несколько лет спустя, я узнала, что он вышел из общины и укрепил за собой участок.

Говоря об аграрных погромах, Иван объяснил, что понимает некультурность и темные стороны этого приема: „А все-таки скажу вам, Вера Николаевна, не будь погромов, не подняли бы вопроса о земле для нас"...

Другой „сознательный" сказал однажды: „Нам не столько земля нужна, сколько свобода. Будь у нас свобода, мы и с той землей, что у нас есть, поправились бы". Это было хорошо сказано и мне понравилось. А через несколько дней он заговорил: „Думаю я, думаю, Вера Николаевна: оденусь-ка я жандармом, да начну-ка во имя государя императора, по указу его императорского величества, народ за землю против помещиков поднимать!.."

На общем фоне осады меня всяческими просьбами, некоторые крестьяие и между „сознательными" оказались не выше общего уровня деревни.

Один сказал: „*Пособия*—я не желаю, но дайте мне в долг из барской экономии десять пудов ржи. Придет урожай—отдам".

Я дала. Долг, по словам приказчика, не был возвращен.

Другой, придя как-то в сумерки, заявил просьбу в таких выражениях:

— Чем я хуже других? Другим рожь даете—и мне дайте!

„Вы не хуже других, говорю я с горячностью, возмущенная, что, хотя он не нуждается, а все же просит. Вы не хуже! Вы лучше других... Ваше положение лучше... вы достаточный, вам не надо спину гнуть! Вы ни от кого не зависите и не принуждены ради хлеба насущного обращаться к чужой милости"...

Все было тщетно; все разбивалось о „я не хуже других: другим даете—мне дайте!..

Конечно, он ничего от меня не получил.

Наконец, третий принес мне еще большее огорчение. Он знал кузнечное мастерство, а в селе не было кузницы, и ковать лошадей ходили в соседнюю деревню—за версту. Мечтой Михайлы было устроить кузницу, но для этого было нужно рублей 40. Нечего и

говорить—такой суммы у него в руках во-веки веков не было. В виду полезности кузницы для деревни и слыша хорошие рекомендации о Михайле, я переговорила с ним о его задушевном желании и на первых порах даю 20 рублей на покупку леса для постройки кузницы, а остальные двадцать обещаю выдать потом на оборудование ее.

Но будущий кузнец, с большим подъемом чувств, начинает упрашивать меня *оказать ему доверие*: выдать все сорок рублей сразу. Он оправдает это доверие... он никогда ни от кого не видал такого доверия... он дает *честное слово*, что во всю жизнь не забудет того доверия, которое я ему теперь окажу.

Его слова, ставившие вопрос на почву доверия, действуют на меня. Мне стыдно думать, что после таких трогательных слов возможно обмануть... Передо мной бородатый человек, человек довольно развитой, и глаза у него такие честные... Возможно ли унизить его отказом, который будет после такого разговора прямым выражением недоверия?! Нет, я не могу дать ему такой щелчок: у меня нет данных поступить с ним как с недобросовестными или как с ребенком.

Застенчиво я подаю ему другие двадцать...

Он обманул меня: кузница в Никифорове так и не была построена, и воспоминание о честном слове этого взрослого и разумного человека до сих пор причиняет мне боль...

Так действовала я неудачно. Всегда неудачно. Крестьянин-садовник, имеющий недурной заработок, строил избу. Не хватало ему на крышу. Стыдно было оставить дом без крыши из-за недостатка каких-нибудь десяти-пятнадцати рублей. Он попросил их—я дала, получив гору обещаний...

Он не отдал.

Другой, сосед по усадьбе, Христом-богом просил 15 рублей в долг, чтоб уйти с ними на заработки в Сибирь, как он раньше уже делал. В деревне, в семье, ему действительно работы не было. Всеми святыми клялся он прислать их с места. Стыдно было не дать—так ясна была необходимость уйти с пустого места.

Я дала. Он ушел. Денег не вернул, хотя жене, еще в мою бытность в деревне, прислал довольно крупную сумму.

Видимое дело: теснимая нуждой и имея перед собой представителя „добрых господ", деревня не стеснялась честным словом и не признавала даже практической выгоды элементарной честности.

Пришел конец моим неумелым шагам, моим досадным огорчениям: приехала из Петербурга моя сестра Ольга Николаевна, и тут уж я ее не пожалела.—„Как хочешь, говорю, бери счеты, бери деньги!.. Быть может, у тебя дело пойдет лучше. Силы у тебя свежие, а мне не вмоготу"...

Сестра вошла в дело и продолжала... Она продолжала, и тут уж вышло такое, что прямо к Щедрину или к Успенскому просится.

Пришло время лен сеять, и бабы стали обращаться к сестре с просьбами о семенах для посева: кто на полосу в одну сажень, кто на две. Сестра распорядилась о закупке семян в окрестных деревнях и, когда привезли, стала раздавать просительницам в меру надобности.

Этим исчерпывались данные нам фонды, и кампания заканчивалась.

И что же? *Как только все льняное семя было роздано*, мы узнали, что женщины сначала продавали сестре свои запасы, а потом у нее же брали на посев.

Эта белыми нитками шитая комбинация была так гениально проста, и положение наше было такое шутовское, что мы начали хохотать... Особенно смеялась я, и разумеется, не только потому, что финал венчал дело, но и потому, что обманута была сестра, а не я.

Будь я сама жертвой, я, вероятно, взглянула бы на дело трагически—старый шоколад давал себя знать. Но жертвой был другой, добрый и доверчивый человек, и случай показался мне таким смешным, таким характерным! Я забыла на минуту, как меня дурачили, и как это волновало и огорчало меня... забыла все и

хохотала; хохотала над собой, над сестрой, над „добрым господином“ вообще...

Это было повторенье, вариация того, что когда-то было описано Г. Успенским: как в колонии интеллигентов на Кавказе, когда было нечего есть, посылали работника с барским ружьем на охоту; а он шел на барский двор, стрелял в домашнего фазана и приносил его „добрым господам“ в ягдташе, как плод „удачной охоты“.

... Смех прокатился и исчез. А тоскующая душа осталась...

Душа, над которой тяготеет все прошлое и которая, возрождаясь ко второй жизни, спрашивает себя в пустыне: как жить? чем жить? зачем жить?

Где *мое* место в жизни? где место для *моей* неповторяющейся, неповторимой индивидуальности?

Но чудодейственной силой на оголенном протяжении пустыни уже возрос первый пучек трав; трав едких, горьких, потому что над ними веяло дуновение скорби; трав соленых—потому что в тиши ночи, вместо росы, на них падали слезы... Эти травы выросли, потому что была сделана *попытка жить*, пускай ошибочная, пускай неудачная, но попытка вмешаться в людскую жизнь, разделить интересы, приобщиться к людским нуждам и страданиям.

С попыткой было связано потрясение, нравственный сдвиг: пересмотр чувств „былого“, взвешивание „сегодняшнего“... Медленно передвигались свет прошлого, тени настоящего... Медленно изменялись краски, смягчались тени... Теплое голубоватое сияние „дали“, и черная тушь полотна, только что пред глазами разостланного... Колыхались *свет* и *тени* деревни... Колыхались, боролись, смешивались—*создавался синтез*... И словно легкий матовый транспарант медленно, в процессе бессознательного, опускался на мучительную загадку: как жить?..

И медленно водяными знаками рука жизни чертила: „ошиблась, споткнулась! Отбрось—не делай этого больше!.. Но, как ни мало пред тобой возможностей, *ищи, пытайся, пробуй!.. и опять ищи!..*“

ГЛАВА XIV.

Противоречия жизни.

Желая сохранить единство темы, в предыдущей главе я не касалась переживаний, которые явно составляют следы послетюремной психологии, но относятся к области, не связанной с моей деятельностью по оказанию помощи голодающим.

Еще находясь в Шлиссельбурге, я очень тяжело переживала неравенство имущественного положения членов одной и той же семьи—явление, которое в обыденной жизни встречается постоянно, не возбуждая ничьего внимания и не вызывая чувства возмущения, если это неравенство не выражено уж в очень резкой и очень отталкивающей форме. А я так отвыкла от жизни и житейских отношений, что этот обыденный факт производил на меня такое удручающее впечатление, какое он, вероятно, произвел бы на человека, попавшего на землю с другой планеты и видевшего в своем постоянном местожительстве совсем иные отношения.

Это неравенство, так огорчавшее меня, я нашла в своей родной семье, когда стала получать письма. В детстве и юности в нашей семье, в отношениях отца и матери ко всем нам, господствовало такое равенство, что я, должно быть, вообразила, что и жизнь для каждого из нас будет тем же, чем были отец и мать. А тюрьма захватила меня в такой период, когда пути жизни членов нашей семьи, можно сказать, были на исходном пункте расхождения: мои сестры, Лидия и Евгения, были осуждены по политическим процессам

и находились в ссылке в Сибири; я была осуждена; младшая сестра, Ольга, только что закончила образование и еще не вступила в практическую жизнь. А братья? Один получил первый ангажемент, которым начиналась его блестящая артистическая карьера; другой—инженер—занял первое место по своей специальности. Расхождение путей жизни уже определилось, но как далеко зашло оно, когда ко мне в крепость пришли первые письма от родных!

И вот я узнаю, что брат Николай находится на вершине славы и богатства, имеет, как артист, головокружительный успех, живет, как владетельный князь, и в материальном отношении может сорить деньгами, как угодно, удовлетворяя не только все свои потребности, но и фантазии, а в то же время над сестрой Лидией, вернувшейся из Сибири с семьей, тяготеет неотвязная забота о необеспеченности ближайшего будущего.

Признаюсь, мне это казалось чем-то совершенно невозможным, недопустимым. Факт стоял передо мной без тех смягчающих красок, которые дозволяли моим родным на воле относиться к нему совершенно иначе: он не удивлял, не возмущал их—для них он был явлением обыденным. Для меня же это неравенство было ново и воспринималось с болезненной остротой. Я привыкла к полному равенству: я видела его сначала в семье, потом в революционной среде и, наконец, в тюрьме, в нашей товарищеской общине, и не могла примириться с возмущавшим меня фактом.

Позднее, когда я вышла на свободу, с такой же обостренной чувствительностью я относилась к неравенству социальному.

Вот я в Никифорове; живу в усадьбе брата, который владеет почти 600-ми десятин земли. Рядом имение другого брата в 1000 десятин. Усадьба хоть небольшая, всего 4 комнаты, но уютная и приятная, и я пользуюсь в ней всеми удобствами помещичьего быта. Но меня не покидает моральное беспокойство от постоянного сравнения обстановки, в которой я живу, с обстановкой, в которой живут мои соседи—крестьяне. По существу я окружена не роскошью, а

только достатком, но этот достаток—кричащая роскошь по сравнению с тем, как живут они. Те, кто прожил жизнь в обыкновенных условиях, не замечают этого неравенства: для них оно привычно; и никого не возмущает. Мне же оно мешает жить. По вечерам, когда я лежу в постели, в красивой комнате, лежу на белоснежной простыне и подушке, под легким одеялом, по странной ассоциации, как контраст, в уме встает вся внутренняя обстановка соседней крестьянской избы: ее духота и тараканы, ее жара и спанье вповалку целой семьей; полати, печка и войлок вместо пружинной кровати; полушубок—не без паразитов—в изголовьи.

Или я еду за 7 верст в Христофоровку, к Куприяновым; еду через все наше село в небольшой изящной коляске; в оглоблях наш старый коренник, на пристяжке, грациозно согнувши шею, бежит легкая каряя лошадь; на козлах—прямой, угрюмый бородатый кучер, Василий, служивший еще при мамаше. За околицей мы выезжаем в открытое поле, и чем дальше, тем шире горизонт; по сторонам высокая рожь слегка колышется, как будто легкая волна или зыбь пробегает по ней. И когда я возвращаюсь уже после того, как зажглись звезды в небе, как хорошо мчаться на прекрасной паре, чуть-чуть покачиваясь на мягких рессорах, а воздух так упоительно свеж, и широкая даль так тянет в бесконечное вперед, что хотелось бы все лететь в эту даль без начала и конца.

И вот, когда дышишь полной грудью, и кругом все так прекрасно, совершенно ясно и определенно встает мысль: для того, чтоб тебя мягко покачивало на рессорах и пара резвых коней несла в чарующую даль, кто-то должен ехать в облаке пыли, на жесткой телеге, способной, как говорится, вытрясти душу, и, неудобно свесив ноги, тащиться на плохенькой лошаденке, которая плетется под угрозою кнута.

Я въезжаю в село; отработавшие крестьяне стоят у изб, сидят на завалинках, а я качу мимо, качу и думаю: какими глазами смотрят они на меня? Какие чувства они могут питать ко мне? И мне кажется, что этими чувствами могут быть только зависть и злоба.

Я хорошо понимаю эти чувства, и *чувствую* всю справедливость их. Ничего другого, кроме ненависти и зависти, такое социальное неравенство не может возбуждать.

Время тогда было беспокойное. В среднем Поволжьи пылали помещичьи усадьбы, а владельцы бежали из своих дворянских гнезд. Когда брат, устроив меня в своей усадьбе, уезжал, он как-то однажды говорил: — Как ты будешь жить?! ты будешь в доме одна, только с девушкой для услуг. Подумай: ночь, ты одна, совсем одна; все тихо — и вот шаги — *„они идут"*... *„идут"*. Тогда все понимали, что значит это *они идут*. Я часто вспоминала эти слова; вспоминала, лежа в постели, лежа на мягком матраце, на белоснежной простыне и подушке, в изящной комнате; на столе букет цветов, и воздух прохладен и душист. Вспоминала: „они идут". И мне казалось, если „идут" — это справедливо, и ни физически, ни духовно у меня не найдется жеста сопротивления...

В то время монархизм был силен в деревне, и мой брат беспокоился, что крестьяне могут особенно враждебно относиться ко мне, зная мое политическое прошлое, и что полиция, с своей стороны, сделает все, чтоб подчеркнуть мое участие в деле 1-го марта 1881 года. Таким образом, к элементу социальному, общему возбуждению крестьянства против помещиков, по отношению ко мне прибавлялся элемент политический. В этом брат Петр ошибался. Сестра Ольга, желая узнать настроение крестьян в этом отношении, сделала разведки, и вот что ей сказала местная крестьянская девушка: *„У нас думают, что теперь она святая и больше она этого делать не будет"*.

Так в этих словах характерно сочеталось и понятие о святости страдания, и понятие о грехе.

Однажды я отправилась в соседнее имение и там просила показать мне комнату, в которой живут рабочие. Когда я поднялась во второй этаж и отворила указанную дверь, то остановилась в изумлении: комната

была совершенно пуста, но в ней сохранились невысокие, почерневшие от времени деревянные перегородки от некогда бывших тут нар; теперь же от них не оставалось никакого следа, и рабочие, стало быть, спали на полу, о чем свидетельствовали небольшие изголовья из жалкого тряпья. Пол был грязный и засоренный. — Моют ли его когда-нибудь? — спросила я. Стряпуха, которая должна была убирать комнату, замялась. Очевидно, этого не делалось. „Каждую субботу мету“,—сказала она, и кучки сора у входа в углу показывали, что недельное накопление происходит успешно. Неоштукатуренные тесовые стены этой грязной, неприветливой комнаты почернели, как это бывает в очень старых избах. Стекла окон были тусклы от покрывавшей их пыли. Как могут люди спать в такой обстановке? Как соглашаются спать они на этом голом полу, в пыли, без всяких постельных принадлежностей? И я живо вспомнила карцер, в котором провела 7 дней в Шлиссельбурге.

Я спустилась вниз. В эту минуту рабочие как раз вернулись с пахоты. Их лица были напудрены землей и походили на лица трубочистов. Отойдя от них, по дороге назад в Никифорово, я с раздражением говорила об этом: неужели можно оставлять людей в таком уничижении? Кругом идут пожары, происходят те „иллюминации“, о которых вопят помещики. Но чего же иного они могут ожидать при таких условиях? Скорее можно удивляться терпению и смиренности батраков. Как из простого чувства самосохранения эти помещики не ставят работников в более человеческие условия?

У брата Петра, в Никифорове, так называемая „людская“ содержалась очень опрятно, и питание рабочих, как я видела, было хорошее.

Но земля, земля! Брат был землевладельцем, но землевладельцем абсентеистом. По профессии горный инженер, он занимал хорошие места на металлургических заводах и был вполне обеспечен большим жало-

ваньем. Должность держала его неизменно в большой дали от именья. „На старости лет, когда потеряю силы, приеду в наш уезд, буду хозяйничать и служить в земстве“,—говорил он. А пока имение было для него игрушкой—дорогой игрушкой, как мы, сестры, говорили ему. Управлял им прикащик, высокий здоровенный мещанин, с красным, толстым лицом мясника, который, повидимому, не забывал своих интересов. Имение около 600 десятин не только не давало брату дохода, но каждый год еще требовало 1—2 тыс. руб. приплаты. Раз в год, летом, брат приезжал в Никифорово на месяц, иногда всего на две недели; он любил деревню, ее простор, поля и лес, и, видимо, наслаждался отдыхом в родном углу, в котором провел ранее детство и все каникулы годов ученья, на которые приезжал гимназистом и студентом. По отношению к имению у него был некоторый хозяйственный размах: он устроил мельницу с нефтяным двигателем, которая была очень нужна в нашей местности; завел *все* необходимые сельскохозяйственные машины вплоть до локомобиля при молотилке; в области животноводства он завел беркширов и выстроил для них такое хорошее, гигиеничное помещение с отдельными стойлами и выбеленными наружными стенами, что оно бросалось в глаза, и я, смеясь, говорила, что оно годилось бы и для одиночной тюрьмы. В саду был пруд; выписав мальков, брат развел род форели, прекрасную рыбу палею. Чтоб облесить склоны холмов, непригодные для земледелия, он засадил их сосной и елью, и, наконец, задумал устроить крахмальный завод, для чего был сделан большой посев картофеля и устроен обширный земляной сарай. Я не говорю уже о мелких опытах разведения хорошего овса и высоких сортов картофеля, как „микадо“ и другие с не менее громкими названиями.

Как же шло это хозяйство?

Начнем с только что упомянутых начинаний. Осуществление крахмального завода не состоялось, а урожай картофеля, тысячи две пудов, погиб, потому что осенью двойная дверь сарая не была во-время закрыта, и картофель перемерз, а „микадо“ и прочие деликатные

сорта были съедены сестрами, которые приезжали на лето в деревню и копали картофель, который ближе попадался под руку.

Рыбу-палею—род форели—которая, как мы после узнали, при полном развитии может иметь до полпуда веса, по неведению, мы ловили на удочку, когда она имела вершка три длины. Рыба была очень вкусная, и мы безжалостно выловили бы ее всю, если бы брат в одном из писем не наложил строгий запрет на это.

Яблоновый сад, выращенный прежним владельцем еще при крепостном праве, занимал пять десятин, но дохода давал рублей 150—200 в год.

Пчельником с 40 ульями, бывшими в этом саду, заведывал сапожник, и количество меда, которое получал брат, было ничтожно.

Крошечные сосенки и елочки по склонам холмов, такие маленькие, что, осматривая посадку, я с трудом находила их среди травы, безжалостно вытаптывались крестьянским стадом, а выращенная братом каким-то чудом маленькая еловая рощица, которую брат берег, как зеницу ока, постоянно подвергалась всевозможным опасностям со стороны пастухов и мальчишек в ночном.

Свиноводство—оно было ужасно: великанша свинья однажды принесла 21 поросенка, но при кормлении передавила всех младенцев, кроме трех—так небрежен был уход. По случаю этого обильного деторождения я смеюсь и до сих пор, вспоминая, как наш серьезный бородатый кучер Василий о плодовитой свинье глубокомысленно произнес:—*„Это она—зря“*. Действительно, оказалось зря...

В хозяйстве было 28 коров, но молока и масла бывало мало. Я отправилась посмотреть животных. Это были жалкие коровенки, относительно которых справедливо можно было сказать, что они *„тасканской“* породы. На мое замечание брату, отчего он не заведет хороших дойных коров, он сказал: „Зачем? я держу их только для навоза“.

Я пошла в конюшню. Лошади стояли, понурив головы, шеи были стерты хомутами: любая крестьянская лошадь выглядела лучше, чем рабочие лошади этого

помещика, несмотря на сено и овес, которые для них отпускались. Заходила я осенью и в очень обширный огород. На тучной почве богато рзарастались сорные травы: высокие помидоры, обремененные плодами, совершенно тонули в них; лебеда, крапива, осот затеняли морковь, и все другое было в том же роде.

Земля. Кругом крестьяне были малоземельны; соседние татарские селения жили в полной нищете и в засушливые годы, так частые в Казанской губ., погибали от голода. Как же пользовался своими сотнями десятин мой брат-помещик? В тот год, когда я жила там, я видела показательный факт: все крестьянские поля были засеяны озимыми. „А у нас?“—спросила я прикащика.—Да десятин 40 еще не засеяно,—отвечал он [1]). И земля лежала оголенная, скучная, в то время, как поля крестьян начинали зеленеть.

Глядя на все это нестроение, на эту землю, о которой нет заботы, на подневольный наемный труд, еле-еле плетущийся, нерадивый, на это бесхозяйственное владение, не пользующееся производительными силами земли, тоска охватывала меня, и чувство возмущения громко говорило: что за отвратительный строй, при котором один держит землю мертвой, потому что она, очевидно, ему не нужна: она для него лишь прихоть, и он не умеет пользоваться ею, а рядом голодают и жаждут этой земли, которую может оплодотворить неиспользованная рабочая сила. И было так ясно, что земля должна принадлежать тому, кто над ней трудится.

Позднее, когда брат спросил, хочу ли я, чтоб в завещании он упомянул меня в числе наследников его земельной собственности, я, не задумываясь ответила: „нет, не хочу!“ И не один раз радовалась потом, что отказалась от этого наследства.

В 17—18 г.г., после революции, когда наступила ликвидация частного землевладения, имение брата в числе прочих было национализировано. Сестра Лидия, которая после смерти брата взялась за наследников хозяйничать в Никифорове и в силу этого имела сно-

---

[1]) И не мудрено: рабочих на пашне заставали спящими.

шения с земельными комитетами и местными крестьянами, испытала великое множество всяких неприятностей. „Зачем, зачем ты оставалась там! Зачем не уехала тотчас же", говорила я сестре, глубоко сожалея, что они—наследники брата—воспользовались совершенно ненужным им земельным имуществом, владеть и управлять которым им, как социалистам, не пристало, да и по характеру и образу жизни было делом совсем для них неподходящим.

Национализация Никифоровского имения, конечно, несколько утолила земельный голод ближайшего населения. Но ликвидация живого и мертвого инвентаря прошла совершенно бессмысленно: крестьяне устроили распродажу машин, скота, сбруи и прочих предметов хозяйства и домашнего обихода, и все за бесценок досталось как раз наиболее зажиточным крестьянам нашего села. Из всего села нашелся лишь один, который не пошел на это торжище и сказал: „Не трогали бы моего, а чужого мне не нужно".

Потому ли, что я не была в числе владельцев, или потому, что во время революции 1917—1918 г.г. крестьяне смотрели на меня уже не теми глазами, какими могли смотреть в 1905 г., понимали, быть может, значение предшествующей революционной борьбы, только после ликвидации как земельного, так и всякого другого имущества сестер крестьяне нашего села постановили посылать мне ежемесячно 1 пуд муки.

Понятно, я была тронута таким вниманием. Кое-кто подшучивал надо мной, что я передала крестьянам свою благодарность. Они действительно в январе или феврале 1919 г. привезли в Казань для пересылки мне два пуда, но дальнейших посылок не последовало, и мне передавали, что крестьяне говорили: „у нас своих бедных много".

Это было верно: в деревне без сомнения было достаточно семей, более нуждающихся, чем я.

С национализацией и ликвидацией поместного владения связь нашей семьи с местами, дорогими по воспоминаниям, порвалась.

Вскоре умер брат Николай; умерли мои сестры: Ольга и Лидия.

Но для меня, если связь видимая, внешняя не существует, то связь внутренняя — живет, и, по прежнему, места, в которых мы родились, воспитались и окрепли для жизни, мне близки, дороги и милы.

Пришел седьмой год революции, и долго сдерживаемая тяга, желание взглянуть на эти места, коснуться черной, родной земли, ее жизни—повлекло меня из Москвы в даль.

Через Казань и Тетюши я посетила Тетюшский кантон—теперешней Татреспублики; посетила Никифорово.

Все эти годы, оторванная, я радовалась, что земля нашла наконец своего настоящего хозяина.

Все эти годы, отчужденная, я радовалась, что прекрасная солнечная усадьба сестер, почти круглый год остававшаяся впусте, нашла надлежащее употребление—превратилась в *Народный дом.*

Я проехала по кантону на лошадях 105—110 верст в трех различных направлениях.

Я видела поля.

Веселили сердце ярко-зеленые, сочные озимые всходы, расстилавшиеся по просторам. . . и горечью отзывалось, когда—десятина за десятиной—шли белесоватые полосы, по безлошадью невспаханные, высокой, густой полынью сплошь покрытые, словно вероломная рука, вместо хлеба, ею засеяла землю.

А Народный дом, которого я так желала для деревни? Вместо него—была мерзость запустения: среди пней вырубленного сада—его яблонь, „его ив"—было пустое место, неопрятный пустырь с беспорядочно разбросанными остатками фундамента. . . Этот Народный дом, большое красивое здание, выстроенное братом в 1908 году для сестер и до голодного года служившее центром просветительной работы, *было продано наркомземом на слом и растаскано по бревнам.*

Продано за 1.400 тысяч в марте текущего (1923-го) года!

..... Еслиб я знала!

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Письма к А. А. Спандони.

Нёнокса, Арх. уезда,
23 января 1905 г.

Дорогой Афанасий Афанасьевич. Вчера вечером я получила два письма, адресованные сестре, а за несколько дней раньше Аш. писал, что вы ищете меня... Да! Молодое письмо прислали вы!... В Шлисс. я я все время думала, что вы уже ушли из жизни... Ведь вы уже при первой встрече казались таким болезненным, а на суде были и того хуже, и я уже не думала никогда встретиться с вами. И вот,—и вы, и я остались в живых, сверх чаяния, а я даже выплыла „со дна", и как раз тогда, когда моя жизнь и моя душа были мной поставлены на карту, на последнюю карту, как последняя ставка, потому что в 1902 г. я думала умереть. Вы так искренно радуетесь моему выходу, так сердечно-тепло пишете мне. Я никак не ожидала—ведь вы казались мне совсем не экспансивным... поэтому-то я и называю ваши письма молодыми, и полагаю, что вы вместо того, чтобы стареть, просто помолодели! Очень хотела бы услышать или прочитать, что с вами было после суда? Но, вероятно, писать об этом—слишком сложно и было бы вам столь же тягостно, как и мне описывать свое „на дне", а на личное свидание еще долго рассчитывать нельзя, и не столько из-за внешних препятствий, сколько из-за того, что всякие встречи, всякие разговоры—мне не по силам: я страшно отвыкла от жизни, от сношений с людьми, и подобно другим Шлисс-цам, быть может, лишь в большей степени—переживаю большую теперь ломку, чтоб приспособиться к новой обстановке, к новым впечатлениям, и, пока, свобода моя похожа на деревянное яблоко, лишь снаружи искусно подделанное под настоящее: мои зубы впились в него, но чувствуют нечто совсем непохожее на фрукт. Условия жизни здесь слишком суровы: страшные ветры, холод;

особенно ветер—это что-то ужасное! Квартира то холодная, то слишком жаркая. На полу и на столе постоянно разница градусов в 8; я три раза уже простужалась, и теперь еще есть следы инфлуэнцы. Из 60 дней, которые я здесь, 20 была нездорова и дней 30 не выходила, потому что холодно или ветер. Этот посад имеет до 2 т. жителей, лежит в 73 верстах от Архангельска. При мне состоят два стражника, специально меня стерегущие и доносящие. Смешно было читать о фотографии. Фотографии нет, да я и не имела ни малейшего желания сниматься. Публика (родные и чужие) находит, что я моложе своих лет, а выгляжу я, конечно, лучше и красивее, чем в те дни, когда вы меня видели в последний раз. Но в Истор. Вестн. в биографии Шеллера Анат. Фаресов поместил этого писателя чуть ли не на одре смерти и в таком жалком, унизительном для человеческой природы, виде, что я почувствовала глубокое отвращение к изображению людей старых, и мне не хочется глумиться ни над другими, ни над собой, и я подумала тогда же, что не буду сниматься—поэтому у меня и теперь нет желания делать это, да мне никогда не нравились мои карточки. Телеграфа здесь нет, но телеграммы получать можно, и вашу из Одессы с тем текстом, что вы пишете, я своевременно получила, только не знала, куда отвечать? Благодарю товарищей за память и привет; о вас, конечно, и говорить нечего—обнимаю крепко и целую. Хотела бы знать, жива ли Софья Григорьевна? [1]) Верно, уж нет ее! Всем общим знакомым, разумеется, прошу передать, что всех помню и всех люблю, с кем рассталась в добрых отношениях.—Почта ходит сюда два раза в неделю. Я получаю много писем от родных и старых друзей—так много, что сил у меня не хватает поддерживать частые и регулярные сношения: нервы у меня расстроены. В конце заключения были уж—ничего, а с отъезда из Шлисс. перевернулись вверх дном, и я никак не могу найти себе колею. У меня постоянно живут родные, кто-нибудь,

[1]) Рубинштейн.—В. Ф.

но я им, полушутя, говорю не очень приятную истину, что одной—лучше, и в самом деле, я так привыкла к одиночеству, что теперь без него не могу обойтись. Я привыкла зимой не менее 4 часов быть на воздухе—здесь это невозможно; привыкла работать в мастерской—теперь ее нет, ибо мое пребывание здесь названо „временным", и меня должны, или могут, сослать в отдаленнейшие места этой губернии; поэтому я не завожу верстака—и так придется бросить всю обстановку, так как я занимаю маленький домик, особнячок, и пришлось завести немного мебели и ужасно много ухватов, корчаг и каких-то других пакостей, без которых якобы нельзя жить. У меня есть белая рабыня, которая стряпает и которою я повелеваю за 6 р. в месяц.—Фрол. жив, но плох. За 2 недели до отъезда моего с ним был обморок—сердце у него плохо работает. Он—прелестнейший человек в мире и герой.

Вера Фигнер.

Я не рассчитала и много написала о себе, отвечая на ваши запросы, а для товарищей-то осталось мало места. Все письма адрес. прямо мне и пока не пропадали. Письмо наполнено ламентациями на климат, нездоровье и нервы—вышло как будто кисловатое, но „tu l'as voulu, Georges Dandin", вы спрашивали. От Анны Павл. Корба имела письмо здесь.

15 февраля 1905 г.

Дорогой Афанасий Афанасьевич. Я получила ваше письмо сегодня и хочется сегодня же ответить вам, хотя почта пойдет только в пятницу, а сегодня вторник. Очень обрадовало меня, что Нюта [1]) скоро будет в Одессе и вы хорошо сделали, известив меня об этом, чтобы не писать по старому адресу. Если она приедет, и вы увидите ее, передайте мое горячее приветствие ей и что я и впрямь начинаю надеяться, что мы с нею увидимся... Только, ах, Афанасий Афанасиевич, как

[1]) Корба.

грустно встречаться стариками, расставшись еще молодыми (относительно) [1]). Первые мои встречи с родными были чистым страданием от невозможности слить в душе прошлое с настоящим: ведь образ-то дорогих людей хранился в ней именно таким, каким был человек в момент разлуки и время не искажало черт лица, не изменяло фигуры и всего облика. И вот... видишь не то, не то. После я уже просила тех, с кем должна встретиться, прислать предварительно карточку, чтобы заочно и вперед пережить неприятные чувства отчуждения и привыкнуть к совершившимся переменам... И это действует—уж не поражаешься так... Конечно, надо бы и к себе применить—„чем кумушек считать—трудиться"... Но я успокаиваю себя тем, что у меня повышенная чувствительность и что во многих отношениях мои чувства болезненны там, где у людей, живших нормальной жизнью—этого нет, и потому им легче даются встречи с изменившейся личностью моей, потому что ведь и я постарела, хотя во мне еще много живости и энергии и все находят, что я выгляжу много моложе своих лет (52!!). А вы меня огорчили: после первых писем я, уверяю вас, вообразила, что вы здоровый и веселый, а из последнего письма вижу, что в вас попрежнему тысячу и одна болезнь и, как будто, ваше здоровье даже хуже, чем в былые времена. Неужели вас не живит юг, теплый климат, ясное небо, море?! Вы не жили бы в городе, а где нибудь в деревне! Беспокойно в городе да и столица юга далеко не гигиенична—я не желала бы жить в большом городе: нервы не выдержали бы... думаю, и вам нужно бы что-нибудь вроде моей Нёноксы—не Нёноксы, а так, какой-нибудь деревеньки,.. только больно уж много тут нищеты всяческой—вот хоть бы сегодня, гуляя встретила мальчика с кривой ногой и, повидимому, можно бы посредством ортопедии поставить ногу в правильное положение, чтоб ребенок ходил, как людя ходят, а не знаю, удастся ли наложить лубки или гипсовую повязку здесь (доктор ничего не

[1]) Это о 30-ти летних-то! Прим. В. Ф

знает, ничего не делает, только даром жалованье получает, старик и, говорят, психопат) и отправить как-нибудь в Арх.... Но уверяют, что там в больнице ужасно небрежны и бедный люд чуть не в шею гонят, а из ссыльных ни одного доктора нет. Был Никонов—прекрасный врач, но уехал, освобожден. Иду дальше... и что же! повел мальчик, почти нищий, сирота лошадь пить к колодцу и показалось мне и Александре Ивановне Мороз (урожд. Корнилова, живущая у меня с 31 декабря), что лошадка бодрая, молодая... пьет воду... и вот поворачивается итти назад... внезапно падает... и подняться не может. Оказывается это с голоду... Нищих здесь столько, что никогда я стольких не видала. Целый день ходят в кухню к белой рабыне, которая подает им хлеба. То явится мужичек с ужимками забитого полуидиота с просьбой дать на поправку провалившейся в избе крыши; то слышишь, что человеку с семьей есть нечего и он работает такую работу, что может в день выработать 6 коп. (землекопный труд) и так до бесконечности. Здесь хлеба часто не вызревают, сеют больше ячмень и мой хозяин, имевший в хороший год до 30 и 40 мешков ячменя (здесь зовут его житом), в этом году получил 3 и какого жита—настоящая шелуха пустая. Овса лошади не знают, а сено в этом году испорчено разливом реки, засыпавшей его песком. Заработков никаких, промыслов нет. Считаются солеварами и есть колодцы с раствором и варницы на артельных началах, но вываривается соль первобытным способом, с громадной тратой топлива и большими накладными расходами на управление, так что очищается пустяк—в лучшем случае руб. 5 на взрослого мужчину в год. Коров кормят оленьим лишайником, чуть-чуть посыпая горстью муки, и молоко, как говорят, от этого лишайника (пища северного оленя) имеет особый вкус, очень неприятный, так что я еле-еле нашла такое, что можно пить, в доме, где корм лучше. К весне ожидают настоящего бедствия—от голодухи людей и животных.

Хорошую же я картину нарисовала, предлагая вам из города ехать на лоно природы... Ну, не везде же

такое убожество. Вот в Шенкурском уезде, по рассказам, население зажиточное... Я все надеюсь, что уеду туда, и как раз теперь в Петербурге куется моя судьба. Ну довольно! Афанасий Афанасьевич. До следующего раза! Теперь я довольно здорова: час в день пилю с Александрой Ивановной дрова и занимаюсь переводом с английского—хочу жить своим трудом. Дружески обнимаю вас и благодарю за сердечное отношение.

Вера Фигнер.

А вы занимаетесь чем-нибудь? Вы живете в меблированных комнатах—значит, не с родными? И кто у вас есть из родных и какие они люди? Какое их амплуа в жизни?? Всем товарищам поклон и рукопожатие.

Одна моя знакомая пришла узнать: нет ли в Одессе дешевого издания хороших картин к жизни Иисуса и, если по справкам окажется, что есть, то сообщите, пожалуйста, название и адрес книжного магазина, число картин, цену и каково, по вашему мнению, качество этих картин?

P. S. и NB. Пожалуйста, не подумайте, что я аккуратная корреспондентка. О нет, вас может постигнуть жестокое разочарование.

Вас. Григ. [1]) я написала и в ответ была самая восторженная телеграмма, какой, наверное, еще и не бывало со времени изобретения Морза. Начиналась она так: тысячу раз дорогая Вера Николаевна и т. д.

Будьте здоровы. А я до сего дня думала, что ваше имя „Михаил Иванович“ — настоящее и мне оно больше нравится, чем варварский Афанасий.

23 марта 1905 г.

Дорогой Афанасий Афанасьевич! Все, что вы сообщаете мне о себе, в высшей степени скверно и это заставляет меня даже и на этот раз быть аккуратной (более или менее). Здоровья нет! Денег нет! прозя-

[1]) Шлиссельбуржец Иванов. Прим. В. Ф.

банье на 30 руб. в месяц, в Одессе, где жизнь так дорога и притом в меблированных комнатах... Родни хуже, чем нет! Недостает только, чтобы вы женились—и жена оказалась ведьмой! Все это не нравится мне и надо бы вам как-нибудь вылезать хоть из ямы безденежья, потому что здоровье на дешевом хлебе никак не может восстановиться. Если будет возможность, пейте весной и летом кумыс или что дешевле и можно приготовлять дома—кефир, и купайтесь в море. Я теперь чувствую себя гораздо лучше и физически, и морально, но все еще страдаю бессонницей и от нее головной болью. Зная, как прекрасно физический труд укрепляет организм и в особенности нервы, я посоветовала бы вам ходить работать на верстаке, хоть 1 часик ежедневно. Я поручу Анне Павловне позаботиться, чтобы вы были здоровы—это чисто женское дело — мужчины никогда не способны даже на это! (каково!). Что вы чувствуете себя лучше на улице и на людях—охотно верю. Всякий неврастеник, всякий переутомленный только и поддерживает себя разными возбуждениями, но к чему это ведет? Лишь к еще большему расстройству. Если, что возможно, я очучусь в Казанской губернии, в именьи родных, как только мои нервы придут в равновесие, я выпишу вас, чтобы тренировать à la Kneipp: солнцем, воздухом и водой. Буду кормить яйцами и битыми сливками, а после обеда заставлять спать. Родные хлопочут, чтобы меня — туда, а о Шенкурске еще ни слуху, ни духу и месяца 2 верно протекут еще до моего выезда, куда бы то ни было. Интересных знакомств здесь у меня нет, но я не скучаю да и не одинока — у меня всегда кто-нибудь живет из близких. В противоположность вам — мои семейные отношения идеальны: мои родные окружили и окружают меня всевозможными заботами и лаской. Материально я тоже вполне самостоятельна и могу уделять на разные мелкие нужды окружающим. Ну до свидания. Salut et fraternité. Жму вашу руку.

Вера.

14 августа 05 г.[1])

Дорогой Афанасий Афанасьевич! Напрасно вы думаете, что я уехала из Нёноксы, не оповестив об этом всех моих друзей и корреспондентов. Я сделала это и отправила целую кучу писем во все концы России, но, хотя, говоря вообще, мои письма не пропадали, видно, в этот раз им не посчастливилось и письмо к Вам и Анне Павловне не дошло по адресу. Особенного там ничего не было, только Анюте я выговаривала, что она пишет уж очень обесцвеченные письма. О Вашей судьбе я прочла в „Праве" № 29, где сказано, что Вы высланы на север. Первое движение было засмеяться: мне показалось забавным, что Вы все стремились ко мне в Нёноксу и теперь чуть-чуть не доехали, но только не захватили уже меня. Со времени восстания „Потемкина" я сильно беспокоилась о Вас и об Анюте, полагая, что в такую сумятицу могли зацепить и Вас где-нибудь на улице, и все собиралась писать отсюда, когда кто-то из родных сказал о Вашей высылке, а потом уж и сама за день-два до письма вашего прочла в „Праве", что Вы стправлены на север. Напишите же мне об Анюте[2]), и куда ей писать? Как Вы устроились в Вологде? ведь там много ссыльных и верно скоро Вы будете, как в родной семье, чувство одиночества и пустынности пройдет. Когда я уезжала, то архангельские товарищи сказали, что телеграфировали в Вологду; и вышло ужасно смешно. Сестра Лидия, сопровождавшая меня по желанию Трепова, все опасалась, что по телеграмме соберутся на вокзале ссыльные и выйдет шумная демонстрация. Вот уже вечер и мы подъезжаем к Вологде. Лиденька волнуется и составляет план успокоительной кампании, я волнуюсь от ожидания встречи с незнакомыми товарищами; бегу в уборную вагона мыть руки в ожидании многих рукопожатий; Александра Ивановна Мороз, жившая со мною вплоть до отъезда и ехавшая с нами же, тоже приготовляется и надевает

[1]) Из Христофоровки.
[2]) Корба.

кружевную косынку. Готовы. Сидим. Вот вокзал. Лидия выглядывает... пустота. В одну, в другую сторону—все пусто, все безлюдно. Тогда мы начинаем хохотать (над своими ожиданиями) и, сразу успокоившись, идем пить чай в зал. Мы думаем, что телеграмму из Архангельска верно скрыли жандармы. В Ярославле и в Нижнем приходили товарищи и были мелкие инциденты с „серыми шляпами", 2 шпиками, сопровождавшими меня, а в Казани губернатор не пустил меня даже ступить на землю, а из товарищей не было никого. Вероятно, вы знаете, какой гнусный надзор думал губернатор учредить надо мной или лучше сказать во всем доме тети. Теперь все устроилось и 2 конных стражника без коней живут в крестьянской избе против усадьбы, ежедневно приходят к тете утром спросить о ее здоровье и „не будет ли выезда", а в случае последнего идут пешком или едут на лошади в то селенье, куда еду я: к брату или к сестрам, жившим летом в 7 и 8 верстах от Христофоровки, где у тети Елизаветы Викторовны Куприяновой проживаю я. Вы спрашиваете, как я живу? Я недовольна, как я живу... Шум и общество расстраивают мне нервы; а в семье без того и другого обойтись невозможно. Это раз. А второе, я все время чувствую с тех пор, как я вышла из Шлис., упадок умственных сил: мне трудно читать серьезные и сухие книги, устаю и не запоминаю. Иногда даже нужное письмо трудно написать. А физически с переездом сюда исчезла бессонница, которая меня мучила в Нёноксе, и горло здесь еще не болело. Но приходится серьезно лечить десны или челюсть: скоро приедет из Казани зубной врач, а пока ежедневно прополаскивают перекисью водорода каждый зуб снаружи и снутри, вводя тонкий шприц между зубом и десной (под последнюю) — все десны отстают от зубов, которые сидят точно в пустых мешочках (кроме 3-х, которые здоровы). В этот раз не буду писать, какая здесь глушь, безлюдье... о том, что здесь я, как овца без стада. В Шлис. я так привыкла к товариществу, к сотрудничеству, что стала чем-то в роде „пальца от ноги". В Нёноксе тоже чувствова-

лась живо связь со своим стадом; постоянно возвращавшиеся ссыльные заезжали ко мне и с Архангельском были постоянные сношения. Здесь же ничего подобного нет. Скорее бы пустили меня на все 4 стороны. Знаете, я тогда поехала бы путешествовать инкогнито, пока не накопилось бы желания быть с людьми, желания говорить, делиться впечатлениями, вообще пока накопилась бы скрытая энергия, которой нужен выход, а теперь у меня нет охоты говорить, ни тем более писать воспоминания, о чем мне часто напоминают. Всего хорошего Вам и привет товарищам.

Вера.

2/IX 05.

Получила вчера Ваше письмо от 24-го августа. Опять Вы пришли в телячий (с позволения сказать) восторг, дорогой Афанасий Афанасьевич. Но это лучше чем тоскливость. Только, пожалуйста, не смущайте меня сообщениями о том, как товарищи мной интересуются. Уверяю Вас это угнетает меня: я совсем не в состоянии быть на высоте „интересного" человека. Сергей Юльевич Витте — вот он может, а я не в силах. Напротив, я чувствую себя крайне неинтересной и мне приходится делать усилие над собой, чтоб хоть кое-как поддержать беседу. И необходимость этих усилий угнетает меня, как признак, что я все еще не я. В самом деле, я чувствую себя такой не энергичной и мне так не хочется в таком виде встречаться со старыми друзьями, что, говоря откровенно, я не хотела бы, чтобы ни Вы, ни кто другой приезжал ко мне. Мне необходимо как-нибудь восстановить свои силы, но сама не знаю, чем и как? У меня нет определенной цели в жизни сейчас, или я просто недостаточно здорова теперь для этого. Я не могу жить хоть на свободе, но точно в тюрьме, нет, хуже, чем в тюрьме, потому что там долголетняя привычка создала тысячу подпор и как это ни звучит странно, но там у меня было товарищество, а теперь его совсем нет, а между

тем я уже органически стала общественным человеком, не в силу особенной добродетельности, а просто в силу привычки. И у меня такой разлад внутреннего настроения и внешней жизни, что трудно представить себе что-нибудь подобное. Прошу Вас не делайте этого письма достоянием публики. Если я пишу, то только потому, что Вы все рветесь приехать ко мне и может быть, даже, что при приезде на два на три дня, я Вас надула бы, и Вы не заметили бы, что я чувствую себя неестественной. Меня и переписка стесняет, и я должна сказать, что больше разу в месяц я не могу писать. Вся моя энергия расходится на письма. В шутку я говорила сестрам, что, если что и погубит меня, так именно письма. Ведь вот, если бы Вы приехали, Вы стали бы расспрашивать, а рассказывать тяжело, и тяжело повторять одно и то же, потому что более или менее все хотят знать одно и то же. Пожалуй, я нагнала на вас печальную задумчивость. Но что же делать: все меня бередит и я *ощущаю* довольство (не возбужденное, а спокойное), когда я в открытом поле и вижу все небо, широкий горизонт, простор, а то ото всего плакать хочется.

Полагаю, что это—„малокровие“, как однажды назвал Новорусский одно мое грустное стихотворение, или я не умею уже жить, отвыкла от жизни, от того, как все люди живут. Вы желаете мою карточку; можете получить некоторое подобие ее, хотя с закрытыми глазами—это группа Архангельцев при встрече. Мне на-днях прислали. Ничего себе. Вы спишитесь с Арх. и получите. Они часто ездят в Вологду. Ну, не претендуйте за эту кислоту и не считайтесь со мной письмами. Василий Григ. и мне не пишет, но он невредим. Там был Бибергаль и говорил сестре, что Иванов процветает. О родственницах Лаврова знаю.

26. IX. 05.

Уж 3-й лист, дорогой Аф. Аф., пишу Вам: напишу и разорву, начну—и не нравится. Иногда уж заколодит—так никак не вылезешь. Беспорядок в голове, так и письма упорядоченного или порядочного не на-

пишешь. Это случается со мной и в речи, начинаю говорить плохо, нестройно—верный признак, что лучше надо молчать, гулять, хорошенько спать. Сейчас солнце светит и на дворе хорошо. Две вещи хорошие оказались за этот год—первые впечатления от изменения в нравах, от зрелища того, как далеко шагнула жизнь в смысле общественного сознания; удовольствие, что мы уже не одиноки, не покинуты всеми, как чувствовалось в 84 г... Это одно, а другое—небо, широкое, не стесненное ничем. Когда выхожу одна в поле, непременно одна и вижу только зеленое поле да небо, то чувствую себя в блаженном состоянии и кажется все шла бы и шла вперед и вдаль—и никогда не устала бы. Только с непривычки боюсь встреч с прохожими—неприятно, когда одна и навстречу—незнакомые люди. Впрочем, у меня с собой собака „Лучек", купленный под Москвой кузиной Наташей за Сен-Бернара, но кажется—помесь. Все-таки он большой и с виду страшный—его побаиваются чужие. На деле же это пока еще теленок: ему шесть месяцев и характер у него еще не выработался. Меня он любит, и иногда чуть с ног не сшибает, когда я уезжаю без него и затем происходит радостная встреча. Уж, верно, Вы не знаете, какое приятное чувство волнует человека, когда собака с визгом кидается к Вам в колени и трепещет и лижет в левое ухо, которое я ей подставляю для поцелуя. Милый Лучек—он мне доставляет положительно радостные минуты, несмотря на все его недостатки, перечислять которые не буду. Когда-нибудь Вы увидите эту собачку (величиной почти с теленка) и он и Вас обласкает, ибо он, вообще ласковый, а пока можете увидать на группе, о которой писала в прошлый раз. Только здесь он значительно вырос против Арх. Последние дни я ездила в Никифорово и там занималась древонасаждением. Мне нравится мысль, что каждый человек должен не только стремиться к улучшению жизни, но и к украшению земли. У Бальзака в одном романе священник, при виде одной страдающей души, указывает на бесплодное поле и говорит—превратите его в житницу и сад

для окрестных бедняков... А Чехов в одном рассказе, характеризуя полную дрянность одного человека, говорит; он только брал от жизни, но ничего не давал: он не сделал ни одного доброго дела, не вырастил ни одного деревца. Эти места двух писателей были маленькой молнией, осветившей какой-то уголок в голове, и идея мне в высшей степени понравилась; мне показалось, что и я должна где-нибудь украсить, насколько могу, землю. На первый раз я посадила 27 березок на кладбище, на котором у нас почти нет зелени. Только в ограде, где спит мать, отец, няня и несколько других родственников, растут уже 35 лет 3 березы, за мое отсутствие выросшие в красавиц. Понемножку буду насаждать вдоль ограды всего кладбища разные древесные породы, чтобы была потом тень и красота. Вам, как горожанину, верно это покажется сантиментальностью, но уж это так—люблю собачку, люблю деревья! Теперь пока закончу, потому что уж довольно поздно и больше не хочется писать. Разыщите-ка мне адрес Анны Павловны и напишите о себе. а то вот о себе-то вы ровно ничего не пишете. Как Вы устроились, с кем видаетесь, кто Вам нравится и т. д. Товарищам передайте привет и будьте здоровы и по возможности веселы. Я не описываю Вам своих деревенских впечатлений, потому что кому-то из друзей писала и повторять одно и то же скучно и невозможно. Крепко жму руку.

Вера Фигнер.

От Вас. Григ. из Ташкента к 17 получила крошечную карточку с поздравлением. Мое рождение не совпадает с именинами; летом мне минуло 53 года. Я страшно жалею, что не 73. В 73 года хороший человек очарователен, и мне хотелось бы быть таковой. Перечитала письмо и вижу, что в этом 3-м экземпляре опущено, что письмо Ваше с 3 пунктами получено и я жалею, что послала тогда свою кислятину: она, видимо, огорчила Вас; так забудьте ее. Иногда я отвечаю не скоро, но письма в общем доходят аккуратно.

Все на свете проходит—пройдут и наши огорчения.

11. XI. 05 г.

Дорогой Афанасий Афанасьевич, Ваше письмо от 2-го ноября я получила. Долго же Вы не писали, и я удивляюсь силе Вашего характера, что Вы помучили меня, так долго не отвечая. Вы спрашиваете о Мих. Юл.[1]) — я от него тоже давно ничего не получала, знаю только, что Панкратов, проезжавший через Нижний (где он был у моей сестры Евг. Сажиной) собирался к нему в Смоленск, как он писал мне. О товарищах Шлисс. не могу сообщить ничего особенного: в „Сыне От." то же напечатано, что сообщают мои сестры. Лидия хотела быть на свид. у Новорусского, а Ольга у Лукашевича. Повидимому, это допускают и есть надежда, что все они разъедутся по родным, чему я, признаюсь, нисколько не радуюсь, если это такие же дикие места, как здесь. Эта буржуазная среда, где не чувствуешь дуновения привычной товарищеской среды... эта темная масса с монархическим настроением, говорящая „нам бы лишь землицы немножко, а более ничего не надо" — совсем не такая здоровая атмосфера, где бы человек мог начать дышать свободнее, чем в тюрьме. Если бы я чувствовала себя здоровой, я ни часу не оставалась бы здесь. Звучит почти насмешкой Ваш вопрос, не свободна ли я? Разве Вы не поняли манифеста — через 3 года я буду иметь свободу передвижения, кроме столиц, и стану ссланной на житье. Право, хохотать можно, если бы не верить, что все это эфемерно. Мои полицейские сидят в деревне, как и ранее, и вообще в деревне решительно ничего не заметно, если не считать скверного. Манифест 3 ноября воспламенил крестьян. Бедняки верят в возможность покупки у помещиков необходимой до зареза земли с помощью крест. банка, от кот. ждут полной ссуды всей покупной цены. В понедельник из Христоф. здешние крестьяне посылают в Казань ходоков к тете на основании этого манифеста и говорят, что если она продаст (по какой угодно цене), то они вечно будут молить бога за нее и за

[1]) Ашенбреннер.—В. Ф.

царя. Я думаю, это большой козырь у Витте (манифест 3-го ноября) столкнуть лбами помещика и мужика. Добровольно первые землю не продадут и мужику будет дан объект для страшного неудовольствия. Этот манифест *как будто* упреждает обещания земских съездов насчет принудительного отчуждения частновладельческих земель с выкупом от государства. Сегодня прочла о военном положении во всей Польше. Возмутительно.

Обнимаю Вас и желаю здоровья. Будете ли Вы служить попрежнему?

В. Фигнер.

Нижн. Новг. Ильинка, д. Большаковой, мне 22/III 06.

Дорогой Афанасий Афанасьевич. Третьего дня приехала Анюта и дала прочесть Ваше письмо из больницы. Оно пробудило мою совесть, что я до сих пор не писала Вам, и я тут же об'явила, что немедленно напишу. Что это Вы как заскрипели—это ужасно огорчает нас: мы только на то и надеемся, что Вы спокон веку скрипели и имели самый ужасный вид. Пришлите-ка мне свою карточку; вероятно, у вас есть какая-нибудь, хотя бы любительская. Я тоже пришлю, у меня есть 3, и я не знаю, какую кому посылать, ибо мнения о них расходятся, а по три посылать—не хватает денег. Зато для Шлисс. галлереи я послала 2 прекрасных негатива и верно Вам доставит удовольствие увидеть их там. Говорят, в апреле эта галлерея выйдет. Понемножку я втягиваюсь в литературу и хочу бросить переводную работу, которая оплачивается дурно, времени же требует много. Вот уже 3 месяца скоро, как я живу у Сажиных в Нижнем и довольна этим пребыванием. Могу теперь, по крайней мере, работать головой и не так тягощусь обществом, хотя вообще к нам ходят мало да и то я часто скрываюсь в свою комнату. До сих пор я чувствую большое внутреннее противление, когда надо встречаться с незнакомым человеком, а от разговоров сильно устаю (что сказывается уже после). Анюту я была искренно рада уви-

деть—она осталась такой же милой и привлекательной. Говорили, что она очень изменилась. Конечно, худа ужасно и потому много морщин. Но это не помешало мне сейчас же увидеть в ней прежнюю дорогую Нюту и ее общество доставило мне громадное удовольствие. Вчера Саж. получили письмо от Синегуба, который предполагает поселиться здесь и служить в Надежде. Из старых здесь же Ал. Ив. Мороз, жившая со мной в Нёноксе, и Буланов (по процессу Оболешева и др.). Бурцев встряхнул Вас, а еслибы Вы знали, какую архивную пыль он поднял здесь! Это настоящий ястреб, так на всех стариков и налетает, и слушать не хочет о наших физических немощах: вынь да положь ему всяких воспоминаний. Кстати, напишите мне, если можно, то немедленно: когда Мих.[1]) передал мне в Харьк. относительно переговоров (чтобы не было терр. фактов до коронации и тогда посыпятся разные блага—амнистия, свобода печати и соц. пропаганда), то как залог искренности предлагали кого-нибудь выпустить: я предлагала Нечаева. Помните ли Вы об этом и в какой форме. Особенно важно последнее обстоятельство. Напишите, пожалуйста, хоть самым кратким образом, как и что помните Вы.

Целую Вас крепко и прошу поправляться!

Вера.

31/III 06 г.

Дорогой Аф. Аф. Не корите, что не позволила приехать в октябре. Право, мне тогда было ужасно скверно, а теперь я становлюсь все лучше, все нормальнее. Уверяю Вас, Вы не умрете, не повидав меня, это совершенно невозможно. Но что же делать, когда иногда все на свете в тягость, все — бремя. И разве можно такой являться к друзьям... Задали вы мне, задачу с карточками. Якуб.[2]) понравилась как раз та на которую я фикаю. Если я Вам дам ее, дайте слово, что никому не дадите переснимать — право, она пре-

[1]) Михайловский. О том, что я предлагала Нечаева—Спандони подтвердил.
[2]) П. Ф. Якубович. (В. Ф.)

гадкая, а вот у Водовозовой (посланы мной), так вот уж те действительно хороши. Верно, прикрашены, но выражение лица удивительно хорошее. Я, конечно, не судья, похожа ли, нет ли, и сужу просто как картинку. Теперь я истратила много денег на карточки и потому всех трех не пришлю (одной уже и нет, пришлось бы заказывать). Пошлю понравившуюся Якуб. с вышеречённым условием. Но, право, это лицо капризное и карточка вообще неудачная. Потом пошлю другую. Не все же радости зараз! Только пишите понятнее—что за почерк!

Что сказать Вам о нашей жизни! Весьма бесцветна! Занимаюсь литературной работой, немножко лечусь, устаю от гулянья, знакомых мало; импульсов со стороны — нуль. Сунуть нос к молодежи не приходилось, все думаю, что в несколько дней устану и придется ретироваться, а пожилые—все давшие себе отставку—как это скучно!

Часто я думаю, что, быть может, если сам не можешь оживлять других и создавать вокруг себя дело, то несправедливо желать и требовать, чтобы другие давали тебе эту атмосферу деятельной жизни! И все-таки хочется, и все-таки думается, что собственное слабосилие и утомленность забылись бы и рассеялись в горячей атмосфере людей более молодых и деятельных...

Вот буду понемножку писать не для издательских фирм, не на срок, а постепенно, для себя. Если выйдет хорошо—напечатаю книжку и хоть ею сделаю с своей стороны вклад в жизнь. Ведь это тоже дело. Но для этого надо много времени, пожалуй, год, если не более...

Сейчас у нас Синегуб, он будет в Москве. Его выслали из Сибири в 48 часов.

Пришлите, пожалуйста, адрес Вас. Гр.

Обнимаю Вас и прошу не скрипеть! не хиреть!

Вера Фигнер.

Портрет пошлю заказным на-днях или же завтра с этим письмом. Не делаю на портрете надписи, ибо он мне не нравится.

13/IV 06 г.

Дорогой Аф. Аф. Грустно стало мне, милый Вы мой, читая Ваше письмо, грустно, что Вы больны и что вам приходится так сжаться из-за болезни. Я сама испытала, что значит хроническое недомогание и иной раз готова была притти в полное уныние. Видала я старух таких здоровых, бодрых, деятельных... так хотелось бы походить на таких, потому что деятельная, энергичная старуха—это сама прелесть, сама поэзия! У меня есть тетя, которой 61 или 62 года и она здоровая, бодрая, чудесная! Я ее называю не иначе, как моя „живописная" старуха. Горизонт ее не широк, но она такая добрая, приветливая, что, смотря на нее, видя ее, я наслаждаюсь (право, не преувеличиваю). Я словно стою перед картиной и созерцаю, и чувствую тихую, спокойную радость или удовольствие. Но зачем я пишу Вам это? Впрочем, не будете же вы „завидовать" моей тете, как позавидовали даме, видевшей меня. Карточку я не посылаю, ибо ее еще нет. Вы, по приезде в Полтавскую губернию, напишите адрес, туда я и вышлю, как только она будет. Водовозова издает галлерею Шл-цев и я выслала ей отличный негатив. Если у Вас не будет этой галлереи, я Вам пришлю ее.—Вы спрашиваете, что я буду писать для „Былого"?—Ничего. Мне не нравится писать на срок, мое здоровье, положительно, страдает от этого, а следовательно и настроение. Я задаю себе задачу—писать понемногу *для себя* и затем издать книжкой. А разбрасываться я не хочу и быть лошадью, которую понукают, тоже не могу. Я имею 50 рублей в месяц от брата (по завещанию матери), так что крайности в обязательном труде нет, хотя я и хотела бы зарабатывать, чтобы не чувствовать себя паразитом и чтобы больше помогать нуждающимся. Биография Л. А.[1]), которая, к моему удовольствию, понравилась и Вам, будет издана отдельным изданием, которое, быть может, и даст мне возможность удовлетворять разным альтруистическим по-

[1]) Волкенштейн, Людмила Александровна. В. Ф.

требностям. Вы спрашиваете, дорогой Аф. Аф., насчет Дегаева. Тогда я *ничего* не подозревала и обращалась с ним, как с другом, братом... Узнала только в тюрьме *через год слишком* после ареста, когда мне предъявили целую тетрадь его предательских показаний. Писать об этом, вспоминать и говорить—мне страшно тяжело и вызывает до сих пор бесконечные слезы, а затем расстройство нервов, когда я начинаю кричать от каждого неожиданного стука!..

Ну, целую Вас. Надеюсь в деревне, если Вы будете у хороших людей, то поправитесь. Всего, всего хорошего.

Вера Фигнер.

4/VI 06 г.

Дорогой Аф. Аф. Получила вчера Ваше письмо и спешу ответить. Я живу в Никифорове, но, конечно, все письма, адресованные в Тетюши, доходят. Мне не хочется рассказывать, как гнусно поступила полиция со мной: выдумала, что из Нижнего я ездила с агитационными целями в Петербург и Москву и на этом основании возвратила меня в прежнее положение. Но жить здесь скверно: бедность и голодание, попрошайничество и унижение, вымогательство и недовольство в случае отказа—вот обстановка, в которой я живу. В мое распоряжение поступило 800 рублей для помощи нуждающимся и это поставило меня в центре всяческих домогательств и неудовольствий. Столовые—форма благотворительноети, наиболее приличная для дающего,—запрещены губернатором, несмотря на хлопоты братьев у министра и разрешение последнего... Местный сатрап ответил министру, что он не ручается за спокойствие губернии в случае открытия их, ибо столовыми пользуются в целях агитации люди неблагонадежные. Итак, осталась раздача муки, пшена или денег на разные неотложные нужды. Когда приезжал сюда Жбанков, то я ему сказала, что такая раздача напоминает картину, которую, быть может, заметили и Вы. Название было, кажется, погоня за счастьем...

Род пирамиды из человеческих тел, давящих друг друга, чтоб урвать кусочек этого желаемого для всех счастья, находящегося на вершине... Крестьянство предстало передо мной с самой несимпатической стороны и Вы поймете, как это больно для человека, сохранившего в душе известную идеализацию народа. Несправедливые и горькие чувства все время волновали меня и, право, если я вырвусь отсюда, то более не приеду. Наш народ (в той местности, где я живу) находится в самом уничиженном положении. И потом, отвыкла я уже от жизни, где на каждом шагу пользуешься чужим трудом. В тюрьме—все делала сама (или с помощью равных); в городе постоянно пользуешься *продуктами чужого труда*, а эксплоатация чужого труда происходит лишь в образе кухарки, обслуживающей 4—5 человек семьи, а здесь—что ни шаг—все оголенный чужой труд: сделай то, сделай это: копают, чистят, поливают, сажают, закладывают лошадей и пр. без конца. И это прямо противно.

Никогда я не чувствовала того, что испытываю здесь. Лежа в покойной чистой постели, в просторной комнате, в бессонный час невольно приходит в голову, что тут же сотни людей валяются кое-как на старых тулупах, и представляешь себе психологию этих людей... Едешь в экипаже на паре и встречаешь телегу и является отвратительная мысль, что едешь не по праву... что для того, чтобы качали рессоры, кому-нибудь необходимо трястись в телеге и т. д. Ну словом, я чувствую себя достаточно несчастной, только Вы не показывайте никому этого письма и не рассказывайте...

Но относительно здоровья—я совершенно здорова и в деревне не страдаю даже и бессонницей, которая меня мучила в Нижнем, должно быть потому, что я здесь ложусь рано и жар и сухой воздух меня очень утомляют. В деревне здесь трудно жить еще и потому, что я отвыкла от такой жары и сухоты. За все время с 19 апреля был один хороший дождь 13 мая, хлеба гибнут от засухи и, вероятно, на будущий год здесь будет страшный голод.

Вы пишете о пожаре. В Никифорове у нас 2 усадьбы. Одна — брата Петра, в которой я живу. Другая старая, отцовская, где мы провели детство и отрочество. Сгорела последная, со всем имуществом, включая и мои книги с разными трогательными надписями авторов. У сестер тоже была порядочная библиотека, которую я мечтала при свободе обратить в общественное достояние, сделав из всех наших книг библиотеку для учителей. Но ничего не успели спасти. Быть может, я сделала глупость, не отправившись на пожар (та усадьба в противоположном конце селения и изолирована от него — а я живу в самом центре на площади, где церковь). Повидимому, приказчик растерялся и не сумел ничем распорядиться. Я же понадеялась на него и боялась, что меня затолкают в толпе, так как я еще не привыкла быть в скопище людей. Так и не вытащили решительно ничего, даже рояли. Я получила прекрасные портреты и посылаю Вам, но на нем мало морщин и я моложе, чем на деле. Смотря на него, как на картину, он мне нравится. У Водовозовой портрет вышел неудачен—без теней, мертвый, и я не узнаю себя. Я не знаю, вышла ли галлерея — Водовозова мне прислала из любезности. Вышел сборник моих стихов; портрет и стихи посылаю.

Вашей статьи в „Былом" еще не читала. В Нижнем продают портреты Шл-цев. Вероятно есть и в Одессе.

Так как я теперь вдали от всякой цивилизации, то мне трудно выслать Вам портреты Шл. Вы купите их сами. Посылаю вам 30 рублей: 25 на лекарства и молоко—вы не рассердитесь за этот маленький подарок (а то я отниму портрет), а 5 рублей на портреты. Затем обнимаю и целую вас.

Вера.

Портрет, стихи и деньги вышлю *на днях* через знакомую из Казани.

ОТРЕЗНОЙ КУПОН.

8/VI 906 г.

Дорогой Аф. Аф. Пишу несколько строк: будьте здоровы и извещайте о себе. Одновременно посылаю заказную бандероль, обещанную в письме. Крепко жму руку.

В. Фигнер.

На оборотной стороне.

Тридцать (30) руб.

От Веры Николаевны Фигнер

г. Тетюши Казанской губ.

18/VIII 06 г. [1]).

Дорогой Аф. Аф. Газеты оповестили о моем приезде раньше, чем это случилось на деле: лишь сегодня я приехала сюда и надеюсь слышать брата на сцене, что меня сильно интересует, так как я ни разу еще не слыхала его игры. Но прошу извинения, что так долго не писала—это уж хронический недуг—писать редко.

Вы спрашиваете о здоровье. Я совсем здорова в настоящее время и настроение не так мрачно, как было в первые $2—2^1/_2$ месяца в деревне: наряду с отвратительными явлениями и еще более отвратительными чувствами, которые они возбуждали, стали выступать на сером деревенском фоне другие черты более светлого и отрадного характера. Завелись знакомства с крестьянами, которые сами называют себя „сознательными“, и хотя у них в голове еще большая путаница и никак не можешь чувствовать в них себе товарищей—все же нельзя не радоваться, что идеи, занимающие нас, волнуют и эти головы, и они симпатизируют нам, как „борцам за свободу“. Перед отъездом, как раз, пришел ко мне такой крестьянин „по-

[1]) Из Нижнего (во второй приезд). В. Ф.

глядеть на меня", спрашивал о Шлиссельбурге и показал приобретенную в Казани карточку-открытку, где сидят: Засулич, Перовская, Волкенштейн, я, Мышкин, Желябов и многие другие. К сожалению, впечатление весьма благоприятное было нарушено просьбой помочь в приобретении коровы. И хотя я не сомневаюсь, что в данном случае „борцы за свободу" сами по себе, а корова сама по себе, все же мне неприятно, что в наших отношениях будет милостынераздаватель и милостынепринимательница, а не дать—тоже не годится, я думаю, потому что, если поддержка оказывается уничиженным просителям с безнадежными головами, то правильно ли не помочь тому, кто любит читать, интересуется политикой, сочувствует сосланным, понимает необходимость свободы и т. д. Крестьяне моего родного села составили и отослали депутату из Тетюшского уезда Лаврентьеву приговор с разными экономическими и политическими требованиями: учредительное собрание, уничтожение государственнсго совета, амнистия, все свободы „в натуре", земля без выкупа и т. д. Теперь вот уже три раза приезжал становой, все с допросами, кто составлял, кто писал?

Крестьяне ведут себя трусливо. Старосты (их 4), приложившие печати, уверяют, что не знают к чему прикладывали их, что они думали, будто это приговор о дровах и т. п. Все отпираются, будто не понимают сами, о чем говорится в приговоре, а между собой идут попреки, что подвел, дескать, ты и т. д.

Конечно, люди попали впервые в такую перепалку и еще проходят школу, как себя вести в таких случаях. Очень боятся, что будут высланы административно, хотя я и подбадривала, что полиция зря начала дело и оно ничем не кончится за отсутствием самого состава преступления.

Ну, ложусь спать. Устала с дороги.

Целую Вас. *Вера.*

Будьте здоровы.

Мой адрес: Нижний-Новгород, Студеная, д. Кривавуса и т. д.

24/IX 06 г.

Дорогой Афанасий Афанасьевич. Что это Вы так давно не пишете? Хорошо, что приехал Антон Степанович [1]) и рассказал мне о вас. Первым долгом передайте, пожалуйста, Александре Владимировне [2]) (фамилии не знаю и сам Антон Степанович не знает), что я крепко ее целую. Антон Степанович и его жена рассказали мне о всех ее милых заботах о Геккере и так это меня пленило, что я хотела бы получить ее адрес, чтобы написать ей. А теперь вот что: сейчас у меня сидит г-жа Вагнер (из Киева), дочь Дзвонкевича. Он живет в Сухуме и она говорит, что ее отец страдает такой же болезнью, как и вы, но что климат Сухума так благотворно действует на него, что он чувствует себя теперь очень хорошо. Он там служит на какой-то маленькой должности и она уверяет, что отец был бы очень рад, если бы Вы приехали туда.

Не знаю, были ли Вы с ним в хороших отношениях и вообще, как вам покажется эта комбинация? Антон Степ. говорит, что в Одессе теперь скверно и что Вам худо, дорогой Аф. Аф. Быть может, Вы поправились бы в Сухуме? Не спишетесь ли Вы с Дзвонкевичем насчет всех условий тамошней жизни?

Живет Дзвонкевич на *рыбном заводе Высаковского*, но служит каким-то надсмотрщиком в порту. По этому адресу (рыбный завод Высаковского) можно и написать ему. А Вам на холодные месяцы необходимо бы выехать из Одессы.

Напишите, дорогой, о вашем житье-бытье, а я также хотела бы из Нижнего куда-нибудь удрать и брат хлопочет, чтоб дали заграничный паспорт. Если дадут, я поеду на несколько месяцев с Ал. Ив. Мороз. Здесь осень: холодно, сыро, выйти невозможно. К тому же квартира у сестры (Студеная ул., д. Кривавуса) очень шумная и это раздражает меня.

Для галлереи Шлис. узников, которую издает в ближайшем будущем Шлис. комитет, я написала био-

---

[1]) Борейшо.
[2]) Жена Геккера. В. Ф.

графии: Фрол., Антонова, Лукаш., Морозова, Новорусского и Похитонова. Якубович хвалит.

Целую Вас и поправляйтесь. Не забывайте меня.

Вера.

7/X 06 г.

Дорогой Аф. Аф. Сейчас получила Ваше письмо и даже расплакалась—такая беда Ваша болезнь. Нельзя ли Вам как-нибудь передвинуться на юг? Напишите же о проекте переезда к Дзвонкевичу. Переезд там не велик, и дочь уверяет, что у него артериосклероз, но он ожил. Жизнь там недорога—быть может, дешевле Одессы. Или Вы не в состоянии передвинуться? и пусть кто-нибудь Вас проводит. Напишите откровенно о Ваших финансах. Напишите, у кого Вы живете, что это за люди и насколько заботливы они? Ведь Вас беречь надо, а здоровые так часто не понимают больных. Антон Степ. рассказывал мне, что Вы на последней квартире не очень-то большими удобствами пользовались. Лучше ли в этом отношении теперешнее Ваше жилище? А у меня жилище тоже не ахтительное, как я, кажется, уже писала Вам и я часто ужасно хотела бы уйти отсюда. Между тем перспектива поездки за границу кажется почти безнадежной. Брат Николай подал прошение министру внутренних дел, а там в юстицию, и, говорят, только высочайшим разрешением кончаются подобные дела, что весьма странно в виду того, что в прошлом году они сами предлагали (правда, надули потом) это. Жить здесь довольно таки скучно. Особенно теперь, осенью; и я должна сознаться, что интересных людей как-то не встречаешь. Проездом был как-то прис. повер. Мандельштам. Он мне показался умным и хорошим собеседником.

Начала посещать публичные лекции. Nomina odiosa sunt [1]).

Была на одной и поражена невзыскательностью публики. Я отметила в уме много неточностей и совершенно парадоксальных (нет! неправильных надо сказать) положений. Но так как добрые намерения были

[1]) Лекция была одного партийного из Москвы. В. Ф.

очевидны, то апплодисменты гремели. Меня интересует отношение публики и я думаю посетить разных лекторов, чтоб изучить аудиторию. Часто вижу тоже подростков, которые ничего не делают: не учатся и не читают. Что из них выйдет? кроме пушечного мяса—ничего! и это еще все же какой-нибудь исход, а то и под пушку не попадут, а будут только загрязнять жизнь. Летом была крайне поражена: молодой человек из высшего учебного заведения лет 23 и, представьте, ничем не интересуется, ничего не читает и не *хочет* читать,—находит это излишним; и по профессии ничему не учится—полный невежда, но самоуверенный и считающий себя в полном праве! Кажется, после розового или пурпурового цвета, которым жизнь показалась залитой при выходе из Шлис., я начинаю читать другую страницу, скучную и раздражающую. Это невежество меня просто бесит. Целую Вас. *Вера*.

Благодарю Майера за привет. Передайте привет Гер. Ал.[1]) и мне очень надо написать ему. Долго ли он пробудет в Одессе и как его адрес?..

Дальше переписка оборвалась: В 1906 г. в октябре Спандони умер, и по моей просьбе вдова Геккера, бывшего товарищем Спандони на каторге, выслала мне из Одессы прилагаемые письма, тщательно сохраненные им.

С волнующим чувством я перечитала их сегодня, 14 октября: перечитала, потому что колебалась—надо ли их помещать? Не будет ли читателю обременительно пробежать их?

Но, перечитав—решила. Ведь они написаны в самый момент переживаний и не могут не выражать всей правды моей тогдашней жизни. Это документ, самый подлинный, достоверный, и я рада, что письма сохранились и подтверждают рассказ этой книги.

Не странно, не удивительно-ли? Спандони судили в 1884 году, по одному делу со мной. Познакомилась я с ним, как сказано в соответствующем месте моего

---

[1]) Лопатин. В. Ф.

„Запечатленного Труда" (ч. 1-я) в Киеве, когда из Харькова я ездила туда в 1882 году, чтобы познакомиться с местной народовольческой группой, членом которой он был. Познакомилась—но как? Как тогда мы все знакомились друг с другом. Раз у человека есть определенная революционная репутация,—подвергался преследованию, был в ссылке, известен таким-то товарищам по партии—и довольно.

Не всматривались в индивидуальность, не заглядывали в психологию.

Так было и со Спандони. Когда я пригласила его, как наиболее солидного члена киевской группы, в создаваемую тогда центральную организацию Народной Воли, я ничего не знала о его ранней биографии: о его детстве, воспитании, о том, как он стал революционером. Были нужны товарищи, чтоб идти вместе. Считала вполне надежным и пригласила.

Потом—суд, на котором отчетливо он не выделялся, молчаливый, как всегда, но стойкий, благородный в поведении своем.

В Шлиссельбург он не попал и так не завязалось у меня крепкой связи с ним.

Но когда я вышла из крепости и была сослана в Архангельскую губернию в тяжелые, очень тяжелые условия, Спандони шлет мне письмо, одно, другое. Письма теплые, ласковые—каких я никак не ожидала от него и не заслуживала, потому что по человечеству он был для меня далек и я считала, что и я для него дальний человек. И это незаслуженное горячее отношение ко мне сделало то, что с ним у меня завязалась правильная дружеская, искренняя переписка.

Другой такой нет. И, потому, что другой такой нет и что Спандони вырывал у меня искренние признания о тяжести жизни после Шлиссельбурга, я решаюсь приложить письма к нему к моей книге и этим память о нем приобщить к ней.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН.

А

А. И. (см. Мороз, А. И.).
Андреев, Л. Н. (писатель). 7, 87, 92.
Анненский, Н. Ф. (общ. деят., статистик). 94.
Антоний (митрополит петербургский). 45, 47.
Антонов, П. Л. (народовол., шлиссельб.). 10, 17, 90, 175.
Ашенбреннер, М. Ю. (народовол., шлиссельб.). 18, 90, 151, 164.
Афанасий Афанасьевич, (см. Спандони, А. А.).

Б

Балавенский, С. А. (присяж. пов. адм. ссыльн.). 26, 29.
Бальзак, Оноре (франц. писат.). 162.
Бибергаль, А. Н. (рев.). 161.
Богданович (Уфимск. губерн.). 40.
Борейшо, А. С. (револ.). 174.
Боровой, А. А. (приват доцент Моск. унив.). 98.
Брешковская, Е. К. (рев.). 88, 89, 102.
Буланов, А. (рев.) 166.
Бурцев, В. Л. (писатель). 166.
Бюнтинг (губер. Арханг.). 10, 12, 13, 14, 57, 62.
Бюнтинг (жена губ.). 45.

В

Вагнер, Е. Н. (урожд. Дзвонкевич). 174.
Веревкин (смотр. Петропав. креп.). 39.
Верещагин, В. В. (худож.). 28.
Витгефт (адмирал). 40.
Витте, С. Ю. 134, 160, 165.
Водовозова, В. П. 168, 171.
Волкенштейн, Л. А. (револ. сопроцес. В. Н. Фигнер, шлиссельб.). 51, 168, 173.

Г

Гапон, Георгий. 42.
Гейнце. 95.
Геккер, Н. Л. (револ.). 174, 176.
Гернет, М. Н. (проф. Моск. унив.). 98.
Гершуни, Г. А. (револ.). 17, 40.
Головня, Е. Х. (тетка В. Н. Фигнер). 68.
Гольдштейн. (адм. ссыльн. прив. доц. П. У.). 26, 53, 58.
Горбунов-Посадов, И. И. (издатель „Посредника". 23.
Горький, А. М. (писатель). 94.
Грацианов. (д-р, суд. по процессу 193). 97. 98, 101.
Григорович, Д. В. (писатель). 132.

Д

Дарвин, Чарльз. 82.
Дегаев, С. П. 169.
Даркшевич (профессор). 91, 92.
Дзвонкевич, Н. (рев.). 174, 175.
Диккенс, Чарльз (англ. писат.). 133.
Долгополов (врач, член 2-й гос. Думы). 102,
Дондукова-Корсакова, М. М. (княжна). 19, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 60.
Дубровин (жанд. полковник). 9. 10.
Дурново, П. Н. (директор деп. полиции). 111, 134.

Е

Евгения (сестра В. Н. Фигнер), см. Сажина, Е. Н.
Ермолаевы, А. В. и М. С. 115.
Ещин (член партии народн. свободы, присяжн. повер.). 95.
Елизавета Федоровна (великая княгиня). 20.

Ж

Жбанков, Д. Н. (д-р., общ. деят.). 169.
Желябов, А. И. (член Исполн. Ком. Народ. Воли). 82.

З

Засулич, В. И. (револ.). 173.
Знаменская, А. А. 89.
Золотницкий, В. 101.

И

Иванов, В. Г. (шлиссельб.). 156, 161, 163.
Иванов, С. А. (шлиссельб.). 103.

К

Карпович, П. В. (рев.). 17, 38, 39, 99.
Качура (рев. сопроц. Гершуни). 17.
Квятковский, А. А. (рев.). 98.
Кладищев (адм. ссыльн.). 26, 53.
Коварский. 101.
Корба, А. П. (член Исполн. Ком. партии Народн. Воли). 100, 103, 153, 157, 158, 163, 165, 166.
Короленко, В. Г. (писатель). 62, 94.
Кривошеин. 87.
Крылов, И. А. 73.
Куприянов, В. П. (мир. суд.). 74.
Куприянова. Е. В. (тетка В. Н. Фигнер). 57, 63, 66, 68, 73, 74, 141, 159, 164.
Куприянова, Н. П. (кузина В. Н. Фигнер, общ. деятель). 63, 66, 120, 129.

Л

Лаврентьев, И. Е. (деп. 1-й Думы). 173.
Лавров, П. Л. (пис. рев.). 161.
Лебедева, В. Д. 60.
Лежава. А. М. 98.
Лидия (сестра В. Н. Фигнер, см. Стахевич, Л. Н.).
Литвин (певица). 64.
Лопатин, Г. А. (шлиссельб.). 39, 103, 176.
Лукашевич, И Д. (шлиссельб). 90, 164, 175.

М

Майер (рев.). 176.
Макринов (прав. канцел. Арханг. губернатора). 26, 58, 60.
Мандельштам (присяжн. пов.). 175.
Манучаров, О. (шлиссельб.). 18.
Мартынов, К. (шлиссельб.). 37.
Мельников (сопроцес. Гершуни). 17.
Михайловский, Н. К. (писат.). 166.
Мороз, А. И. (член кружка Чайков) 24, 31, 33, 37, 43, 48, 49. 51, 52, 53, 55, 57, 63, 100, 103, 155, 156, 158, 159, 166, 174.
Морозы (сыновья А. И. Мороз). 60.
Морозов, Н. А. (член Исполн. Ком. партии Народн. Воли, шлиссельб.). 61, 62, 90, 103.

Н

Наталья Макарьевна (няня В. Н. Фигнер) 132.
Натансон, М. А. (член О-ва „Земля и Воля"). 100, 103.
Натансон, В. И. (рев.). 103.
Нейгард (пред. дворян. в Нижнем). 94.
Некрасов, Н. А. (поэт). 107, 133.
Нессельроде (помещик Саратов. губ.). 117.
Нечаев, С. Г. (рев.). 166.
Никифоров, Л. П. (писатель толстовец). 101.
Никонов (врач, адм. ссыльн.). 155.
Новорусский, М. В. (рев. шлиссельб.). 17, 90, 103, 161, 164, 175.

О

Ольга (сестра В. Н. Фигнер, см. Фроловская, О. Н.).

П

Панаева, Е. Я. (писат.). 133.
Панкратов, В. С. (шлиссельб.). 164.
Переверзев (присяжн. повер. адм. ссыльн.). 26.
Перовская, С. Л. (член Исполн. Ком. партии Народн. Воли). 82, 173.

Плеве, В. К. (министр). 41, 45.
Поливанов, П. С. (шлиссельб.). 37.
Похитонов, Н. Д. (сопроцесник В. Н. Фигнер, шлиссельб.). 39, 175.
Пруденский (лесничий). 23.

Р

Рогачев, Н. М. (рев. член военной организации, сопроцесник В. Н. Фигнер). 39.
Рождественский (адмирал). 40.
Рубинштейн, С. Г. (сестра композитора). 152.
Рыбина, А. (мещанка Нёноксы). 29, 35.

С

Сажин, М. П. (зять В. Н. Фигнер). 39, 94, 165, 166.
Сажина, Е. Н. (сестра В. Н. Фигнер, суд. по делу А. А. Квятковского. 27, 29, 31, 33, 77, 88, 91, 92, 93, 94, 98, 104, 105, 107, 110, 111, 115, 116, 139, 164, 174,
Салтыков. см. Щедрин.
Святополк-Мирский (министр). 39.
Семашко, Н. А. (револ.). 98.
Сергей Алекс. (вел. князь). 43.
Сикорский (шлиссельб. сопроцесник Гершуни, Сазонова). 17.
Синегуб, С. С. (рев.). 166, 167.
Скирмунт (издатель). 51.
Спандони, А. А. (сопроцесник В. Н. Фигнер). 31, 151—177.
Стахевич, Л. Н. (сестра В. Н. Фигнер). 9, 20, 29, 30, 35, 57, 62, 66, 132, 139, 140, 146, 148, 158, 159.

Т

Теренин (помещик Тетюш. уезда). 86.
Трепов, Д. Ф. (тов. министра внутр. дел 1905 г.). 68, 69.

У

Ульянов, Н. А. (револ.). 100, 101.
Успенский, Г. И. (писат.). 109, 118, 119, 137, 138.

Ф

Фабр, Анри (естествоиспытатель). 33.
Фаресов А. (суд. по процессу 193). 152.
Фигнер, Н. Н. (брат В. Н. Фигнер, артист). 13, 49, 66, 68, 140, 148.
Фигнер, П. Н. (брат В. Н. Фигнер, инженер). 11, 13, 107, 110, 140, 142, 143.
Флоровская, О. Н. (сестра В. Н. Фигнер). 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 37, 42, 71, 111, 137, 140, 142, 148.
Фокеев (прис. пов. член 2-й гос. Думы). 102.
Фонтана (немец. рев. 48 года). 33.
Фредерикс (губерн. в Нижнем). 97.
Фроленко, М. Ф. (народоволец, шлиссельб.), 10, 17, 153, 175.

Ч

Чайковский, П. И. (композитор) 64.
Чернов, В. М. (рев.). 101.
Чернышевский. Н. Г. (писат.). 11.
Чехов, А. П. (писатель). 163.

Ц

Цельшерт (помещики Тетюшского уезда). 87.

Ш

Шаляпин. Ф. И. (певец). 94.
Шеллер-Михайлов А. К. (писатель). 152.
Шишко, Л. Э. (рев. член кружка Чайков). 82.

Щ

Щедрин-Салтыков М. Е. (писатель). 137.

Я

Якубович, П. Ф. (писат. рев.) 27, 166, 167, 175.
Янович, Л. Ф. (рев., шлиссельб). 37.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Стр.
ПРЕДИСЛОВИЕ	5
Глава I. В Архангельске	9
„ II. Посад Нёнокса	19
„ III. Настроение	29
„ IV. Волнующие вести	38
„ V. Княжна М. М. Дондукова-Корсакова	45
„ VI. В окрестностях моря	51
„ VII. Из Нёноксы в Христофоровку	57
„ VIII. Пробуждение	61
„ IX. В родных местах	66
„ X. Впечатления и факты	77
„ XI. Переезд в Нижний	90
„ XII. В Нижнем	94
„ XIII. С горстью золота	106
„ XIV. Противоречия жизни	139
Приложение—Письма к А. А. Спандони 905—906 г.г.	151
Указатель имен	179

Цена 2 руб.

Кооперативное Книгоиздательское Товарищество
«К О Л О С»
Ленинград, пр. Володарского, 21, кв. 14.
Телефон 5-66-23.